

ВАСИЛИЙ ЯН

Записки всадника

I. «К ДАЛЕКИМ ГОРИЗОНТАМ» [194]

1. ВПЕРЕДИ — НЕОБЫЧАЙНОЕ!

Еще в 1900 году, будучи в Лондоне, я получил письмо от старшего брата Дмитрия
[195]
из Китая.

Брат писал, что генерал Суботич
[196]

, у кого он одно время служил, после окончания маньчжурского похода назначен начальником Закаспийской области
[197]

, ищет энергичных сотрудников, и советовал этим случаем воспользоваться: ехать в Азию, указывая, что «будущее России в Азии».

Я решил принять совет брата.

Это решение вызвало далеко идущие последствия, наложившие отпечаток на всю мою жизнь и творчество.

Так я из «пешехода» превратился во «всадника»...

Однако отъезд в Среднюю Азию осуществился лишь спустя полтора года после возвращения из Англии.

Суботич задержался на Дальнем Востоке, а затем уехал в продолжительный отпуск за границу.

Вернувшись в Россию, я продолжал «скитания» по ней и подготовил к изданию свою первую книжку
[198]

Наконец, узнав из газет, что Суботич перед отъездом в Асхабад
[199]

, к новому месту службы, находится в Петербурге, осенью 1901 года я приехал туда из Ревеля, где жил у своих родителей, но генерала уже не застал.

Меня приветливо приняла генеральша, носившая величественное имя Олимпия Ивановна
[200]

и обладавшая не менее величественной внешностью. Генеральша сказала, что «они с мужем оба любят Дмитрия Янчевецкого, проделавшего вместе с генералом трудный поход через Маньчжурию, и с удовольствием будут иметь своим сотрудником его брата».

После этого разговора состоялся обмен телеграммами с Суботичем, и тот подтвердил свое согласие на мой приезд в Асхабад.

Еще несколько недель я пробыл в Ревеле, пока наконец получил официальное извещение о своем назначении и «прогонные» на путь следования к месту службы.

На эти деньги я заказал себе форму чиновника канцелярии начальника области и для большей парадности купил в антикварном магазине великолепную шпагу в лакированных ножнах, как мне казалось, украшавшую некоего придворного кавалера эпохи Елизаветы Петровны и побывавшую не на одной дуэли.

На этот раз мои родители были довольны: это все-таки была «служба», а не «бродяжничество», хотя по тем

временам где-то «очень далеко» и опасная, в стране «песков и отрубленных голов», как назвал Среднюю Азию один путешественник в своей весьма популярной тогда книге [201]

Вскоре, полный радужных надежд, с легким багажом, фотографическим аппаратом и ящиком масляных красок, я выехал в Азию скорым поездом Петербург — Баку.

Подъезжая к Кавказским горам, я, конечно, воображал себя Печориным, ждал необычайных переживаний и приключений и ощутил первые волнующие минуты, увидев далекие синие ущелья и горцев в черкесках и бурках.

Из Петербурга я выехал в конце декабря 1901 года, в лютый мороз, — в тот год была очень суровая, снежная зима, а в Баку было удивительно тепло. Сияло яркое солнце, сильный ветер выплескивал высокие, пенистые волны на песчаный берег, у которого в ожидании пассажиров дымил пароход.

Пароходная линия Баку — Красноводск была очень оживленным путем, и по нему в обоих направлениях двигались суда «Восточного пароходства», «Общества «Кавказ и Меркурий»» и других судовладельцев, занятых перевалкой грузов и перевозкой пассажиров, следующих из Средней Азии на Кавказ, в Россию, и обратно.

Не задерживаясь в Баку, я пересек Каспийское море и на другой день, ранним утром, впервые увидел приближающиеся берега Средней Азии.

Меня поразили необычайно нежные тона песчаных отмелей, пологих гор и моря — светло-розовые и бирюзовые. Близ скалистого берега плыли узкие, длинные, черные рыбацьи лодки, под ромбическими парусами, вовсе не похожие на рыбацьи суда, какие привык я видеть на Балтийском море и у берегов Англии.

Пароход причалил в Красноводске

[202]

, бывшем тогда совсем небольшим поселением с немногими крохотными домами, в которых жили русские военные и чиновники, а также торговцы — персы и армяне.

У лавок стояли, держа в поводу коней, рослые кочевые туркмены в красных полосатых халатах и очень высоких мохнатых папахах, чей бараний мех свисал на глаза. Здесь же были кочевые киргизы, приехавшие за товарами в город на верблюдах с полуострова Мангышлак.

Поезд узкоколейной железной дороги (его вагоны были выкрашены в белый цвет, чтобы отражать солнечные лучи и не перекаляться) медленно повез меня к Асхабаду, мимо очень невысоких гор, называвшихся Большие Балханы.

Стоя на площадке вагона, я то смотрел на лиловые тени гор, то не мог оторвать взгляда от разворачивавшейся с другой стороны поезда бескрайней панорамы желтых барханов пустыни Каракум.

Железная дорога была проложена до Ташкента, хотя переправлялись через Амударью у Чарджуя (Чарджоу) долгое время по деревянному временному мосту, поставленному на деревянных быках

[203]

.

2. ПАНСИОН МАДАМ ГИТАР

Встретивший меня на вокзале по приезде в Асхабад жизнерадостный человек в черкеске предложил остановиться в «самой лучшей гостинице города» на выбор — «Лондонской», «Центральной», «Петербургской», «Московской», «Пушкинской»... Когда я спросил, нет ли гостиницы поскромнее, он ответил: «О! Конечно! Тогда я вас провожу в «Парижские номера»!..»

Экипаж отвез нас в тихую, залитую солнцем улицу, где медленно проходил караван верблюдов. Крытая веранда тянулась вдоль низкого, выбеленного известью дома, за ним виднелись верхушки тополей и карагачей.

Меня любезно встретила молодящаяся француженка — мадам Ревильон, по прозвищу «мадам Гитар», необъятных размеров, говорившая хриплым, низким голосом на ломаном русском языке. Она никогда не расставалась с папиросой, закушенной в углу рта, и смеялась протодьяконским басом.

Мадам Гитар одно время была маркитанткой в войсках Скобелева, проделала с ним поход от Красноводска до Геок-Тепе и поэтому пользовалась особым благоволением начальства.

У мадам Гитар был пансион, с завтраками и обедами, а за длинным столом в обособленной комнате состоялись и мои первые знакомства со многими русскими холостяками — жителями Асхабада, не имевшими своего домашнего очага, обменивавшимися здесь новостями.

Мадам Гитар была отличной поварихой, угощавшей блюдами, особенно ценимыми «белым генералом». Она подторговывала вином, знала в нем толк, и у нее всегда можно было получить любимый напиток Скобелева — портер, смешанный с шампанским, половина на половину, пили его стаканами.

Кроме мадам Гитар в Асхабаде жили еще три француженки.

Мадам Рено, тоже скобелевская маркитантка, держала «Французские номера». Маленькая, сухонькая, очень аккуратная, мадам Рено ненавидела мадам Гитар, свою соперницу по славе и конкурентку по коммерции. Мадам Рено разводила великолепные цветы, а постоянными покупателями были офицеры гарнизона, подносявшие букеты своим командиршам и дамам сердца.

Две другие француженки, молодые Люси и Мари, держали на главной улице города «Французскую кондитерскую».

Люси, крупная пышная блондинка, была прочно абонирована начальником Управления государственных имуществ, старым штатским генералом.

Миниатюрная хохотунья Мари имела покровителем крайне ревнивого молодого армянина Аванесова, владельца магазина скобяных изделий, помещавшегося в том же доме, что и кондитерская. Иногда Аванесов внезапно входил в кондитерскую, угрожающе прочищая шомполом большой старинный револьвер, когда слышал через стенку, как Мари, по его мнению, слишком долго и свободно разговаривала с каким-нибудь юным поручиком или усатым казачьим хорунжим.

Я занял в «Парижских номерах» маленькую комнатку, имевшую две двери, одна выходила на улицу, другая вела во внутренний двор и сад при гостинице, что было очень удобным.

Однако в самом скором времени пришлось покинуть мадам Гитар. Хотя она угощала превосходной французской кухней, но одновременно предъявляла непомерные счета, бывшие мне не по средствам.

В большинстве русских семей, как военных, так и чиновничьих, вначале я был принят приветливо, стал изредка бывать в Военном собрании и Клубе велосипедистов — сугубо штатском заведении, где устраивались танцы и веселые маскарады с интригами и неожиданными знакомствами.

Но большей частью я все же держался замкнуто и настороженно, опасаясь, чтобы меня не опутали женские чары и ласковые мамы взрослых дочерей на выданье.

Меня манили бирюзовые дали, таинственные персидские горы, мечты о скитаниях по Азии. «Семья, дети — все это еще придет, — думал я, женитьба теперь выбьет меня из колеи намеченного плана путешествий, и я стану чиновником, сидящим за столом с пачками срочных бумаг или архивных дел... Нет, нет! Какими угодно путями, но я добьюсь поездки в Персию, загадочный Афганистан, сказочную Индию!..»

3. ГОРОДОК-КРЕПОСТЬ

Ко времени моего прибытия в Среднюю Азию город Асхабад, расположенный невдалеке от персидской границы, еще продолжал считаться «военным укреплением» и имел военную администрацию, хотя прошло двадцать лет с той поры, когда здесь продвигались войска генерала Скобелева.

Это был маленький чистенький городок, состоявший из множества глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами, с прямыми улицами, распланированными рукою военного инженера, обсаженными стройными тополями, каштанами и белой акацией.

Тротуаров, в современном понятии, не было, а вдоль улиц, отделяя проезжую часть от пешеходных дорожек, журчали арыки, прозрачная вода стекала в них с гор, находившихся неподалеку и, казалось, нависавших над городом.

По другую сторону городка простиралась беспредельная пустыня.

Городок был одноэтажный. После нескольких землетрясений было запрещено строить иные здания, кроме одноэтажных самого легкого типа, и единственным двухэтажным зданием был городской музей.

Городок просыпался и засыпал по сигналам, доносившимся из крепости. На рассвете и на закате солнца в тихом воздухе слышались звуки трубы, игравшей зорю, и протяжные голоса солдат, певших утреннюю и вечернюю молитвы.

Население городка было невелико
[204]

. Русская его часть главным образом состояла из военнослужащих и чиновников с их семьями. Обыкновенно каждая русская семья покупала или же, чаще, строила себе одноэтажный домик, окруженный небольшим садом.

Всякий желавший надолго обосноваться в Асхабаде просил о предоставлении ему земельного участка,

выдававшегося из числа нарезаемых в направлении селения Кеши, и обычно получал также ссуду на постройку. Я тоже подавал прошение об отводе участка, но обстоятельства в дальнейшем сложились так, что обзавестись своим домиком не пришлось.

Кроме русских в городе проживали армяне и кавказские татары, азербайджанцы, державшиеся обособленно. Совсем замкнуто жили персидские семьи. Иногда по улицам проходили персиянки в просторных черных балахонах, с закрытыми белым покрывалом лицами и в широчайших черных шароварах.

Туркмены обитали вне города в своих кочевьях. Немногочисленные группы их войлочных кибиток иногда появлялись вблизи окраины. Значительной частью русского общества туркменский народ в то время еще считался кочевым, диким народом, и он находился под двойным гнетом: своих феодалов — ханов и царских наместников.

Первые осуществляли управление бедными слоями туркменского народа, преимущественно чабанами (пастухами), на основе многовековых родовых отношений, исстари сложившихся в многочисленных отдельных родах и племенах. Вторые держали в руках всю законодательную и административную власть.

Для русского чиновного населения Асхабада жизнь не была тяжелой. Все получали полutorное жалованье, так как считалось, что они живут и служат в военном поселении на границе, а расходовать деньги было некуда, да и жизнь была дешевой.

В городе было несколько усиленно посещавшихся частью «общества» пивных и садов-ресторанов, с их пьяными драками, тайных и явных публичных домов и притонов — курилен териака (опиума); случались грабежи купеческих лавок, насилия и убийства по ночам. Для развлечения этой части «общества», ищущей, как убить время, чтобы спастись от провинциальной скуки, устраивались представления передвижного цирка с девицами — укротительницами тигров, «Парад фаэтонов и дилижансов», осмотры «Столичного музея восковых

фигур», слушание «говорящих людей-автоматов» и тому подобные зрелища.

С мая по сентябрь, спасаясь от убийственной жары, все это «общество» уезжало на лето в Фирюзинское ущелье (в Копетдагских горах), где было попрохладнее. Туда же на это время переезжала и канцелярия начальника области.

В оставшиеся периоды года — развлекались, посещая музыкально-танцевальные вечера в Клубе велосипедистов, костюмированные балы в Военном собрании, благотворительные вечера в Народном доме, скачки на ипподроме Скакового общества и сеансы недавно появившегося синематографа Люмьера.

Любимым развлечением асхабадцев по вечерам, когда спадала жара, была прогулка за город по Гауданскому шоссе, ведущему в Персию. Наемные фаэтоны, запряженные парами бешеных коней, блестя никелированными спицами колес, на резиновых дутых шинах (высший шик!), с кучерами-азербайджанцами, сидевшими на козлах в белых парусиновых кафтанах, обгоняя друг друга, везли разряженных жен офицеров и чиновников.

Наиболее эффектные дамы мчались в собственных экипажах. Среди них выделялись юные красавицы — княгиня Дударева, жена генерала, командира артиллерийской бригады, и Успенская, жена директора банка, прекрасная пианистка.

Рядом или отдельными кавалькадами гарцевали верхом молодые офицеры и чиновники в белых кителях и фуражках, также стремясь обскать друг друга.

4. «СТАРЫЕ ЗАКАСПИЙЦЫ»

Но было в городе и другое русское общество, с иными интересами, тоже из военных или чиновников, основавшее Закаспийский кружок любителей археологии, Общество исследователей Закаспия, Общество востоковедения, городскую библиотеку и музей. Эти люди преподавали, лечили, строили, изучали Туркмению, ее язык, фольклор, литературу, искусство, архитектуру и историю древнего туркменского народа.

Ими устраивались народные чтения о путешествиях по Востоку и о прошлом Туркмении, об открытии X-луча Рентгена и о будущем развитии нефтяных богатств острова Челекен. Они отмечали Гоголевские и Пушкинские дни, посещали концерты и спектакли заезжих музыкантов и артистов, спорили о новых пьесах Чехова и Горького, обсуждали творчество Льва Толстого и туркменских поэтов Кемине, Молланепеса, Махтумкули. Они же участвовали в зарождавшемся революционном движении Закаспия.

Русские старожилы, обосновавшиеся в Туркмении, называли себя «старыми закаспийцами», в отличие от «старых туркестанцев», как именовали себя русские старожилы Ташкента, Самарканда и других городов восточной части русской Средней Азии.

Первыми русскими поселенцами в Туркмении были отставные военные и чиновники с их семьями. Затем появились люди торговой и промышленной профессий, исследователи края — представители естественных, географических и исторических наук, инженеры, врачи, учителя.

С окончанием строительства Среднеазиатской железной дороги приехало и осело в городах Туркмении много рабочего и мастерового люда, а кое-где появились русские переселенцы-крестьяне.

Эти русские люди, непосредственно общавшиеся с туркменами, коренным населением Закаспия, явились носителями более передовой, по сравнению с тем, что здесь было, русской культуры. Они искренне полюбили Туркмению и Среднюю Азию, жили общими интересами, породнились с населявшими ее народами и проделали незаметную, но великую работу по сближению с русским и другими народами России всех национальностей ее бывших «среднеазиатских владений».

Таких замечательных «старых закаспийцев и туркестанцев» в Средней Азии немало. Один из типичных — Александр Александрович Семенов

[205]

, чья судьба — пример многих его современников, посвятивших свою жизнь сперва русской, а потом советской Средней Азии.

Мы познакомились с А. А. Семеновым, когда я только что прибыл в Асхабад, а он служил в канцелярии начальника области секретарем статистической части, и быстро подружились.

Будучи незадолго перед тем студентом Лазаревского института восточных языков, Семенов участвовал от Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете в экспедиции графа А. А. Бобринского в Восточную Бухару.

Из этой экспедиции Семенов вывез большой этнографический и фольклорно-лингвистический материал, обработал его и опубликовал в трех томах, где очень живо описал эту поездку, разговоры, поговорки и сказки горных таджиков. За это сочинение он получил золотую медаль Общества.

Об А. А. Семенове я рассказал генералу Суботичу; тот крайне удивился, что ничего о нем не знает, и помог его продвинуть по служебной линии.

В советское время А. А. Семенов стал членом двух среднеазиатских академий, профессором двух среднеазиатских университетов, директором двух научных среднеазиатских институтов.

Мы встретились с А. А. Семеновым вновь — через сорок лет! — в 1942–1944 годах в Ташкенте. Неузнаваемо изменилась советская Средняя Азия, изменились и мы оба. Но Александр Александрович оставался таким же кипящим энергией, полным юношеской неукротимой силой духа исследователем, влюбленным в жизнь народов Средней Азии, делу просвещения которых он отдал все свои силы замечательного русского человека, ученого и гражданина.

Тогда же в Асхабаде я подружился с другим старым закаспийцем, дипломатическим чиновником Андреем

Дмитриевичем Калмыковым. Нас сблизила общая любовь к Востоку.

Калмыков, ориенталист по образованию, написал несколько интересных специальных исследований о Средней Азии. Он продолжал ее изучать и в дальнейшем, хотя судьба дипломатического чиновника и бросала его с одного места на другое.

Так, спустя десятилетие, я вновь встретился с Калмыковым в Турции, где в ту пору он был русским консулом в Бейруте.

Старожил Асхабада Алексей Михайлович Дуплицкий, чиновник, заведовавший судной частью при начальнике области, старик, сопровождал Скобелева в походах по Средней Азии. Дуплицкий имел чин действительного статского советника, и к нему, как штатскому генералу, обращались с титулом «ваше превосходительство».

Но у Дуплицкого была очень молодая жена, к тому же еврейка, да еще и невенчанная. Кроме того, ее брат был местным фотографом, а эта профессия тогда считалась «недостаточно корректной». Поэтому жена Дуплицкого не была принята в асхабадском «обществе», и вместе они не могли появляться на официальных приемах, что было типично для местных нравов тех лет.

Колоритной фигурой в Асхабаде был довольно известный тогда журналист и писатель Юрий Кази-бек, публиковавший живые, бойкие, злободневные фельетоны под псевдонимом «Ивернели».

Им написано много очерков и рассказов из жизни народов Северного Кавказа и Средней Азии, напечатанных в журналах «Нива», «Природа и люди», других периодических изданиях. Кази-бек был его псевдоним, под которым он жил, скрывая настоящую фамилию.

Кази-бек всегда ходил в черкеске с газырями и большим кинжалом у пояса, носил дымчатое пенсне, скрывавшее за стеклами его беспокойный взгляд. Много испытывший, необычайно остроумный, он неожиданно исчез из Асхабада, как говорили, потому, что им

заинтересовалась полиция. Позднее, мне рассказывали, Кази-бек оказался в Персии.

Там он пришел к губернатору города Мешхеда
[206]

и заявил, что он русский, хочет служить на персидской службе и принять мусульманство. Персы восхитились, узнав, что наконец нашелся «русский писатель, пожелавший стать верным слугой шаха персидского». Но когда потребовалось совершить обряд обрезания и старые ишаны готовы были приступить к этой священной для мусульман процедуре, Кази-бека нигде найти не смогли.

Оказалось, что Кази-бек рассчитывал обойтись без этой процедуры по простой причине — она ему была не нужна; когда ишаны узнали, что Кази-бек — ягуди (еврей), то заявили, что он, обманув их, тем самым совершил величайшее святотатство, проникнув в запретную зону древнего, священного для мусульман города. За Кази-беком погналась толпа фанатичных персов, и дальнейшая его судьба осталась неизвестной... Если учесть, что в ту пору среди государств Средней Азии евреи повсеместно жили в крайне униженном положении (они не смели ездить на лошади, в знак своего рабского состояния должны были опоясываться веревками), становится понятной отчаянная дерзость Кази-бека и ярость ишанов.

5. КАПИТАН ЙОМУДСКИЙ И МЕРГЕН-АГА

Интересное знакомство было у меня с большим знатоком Туркмении капитаном Н. Йомудским, рассказывавшим о своих предках, туркменских вождях и ханах, автором нескольких изданных на русском языке книг о прошлом туркменского народа. Йомудский не мог смириться с приниженным положением своей родины и мечтал о том времени, когда Туркмения расцветет, станет свободной. У него были свои причудливые фантазии. Как-то в совместной поездке верхом Йомудский вывел меня на

вершину отрога огромной скалы, возвышавшейся над песками, откуда открывался далекий вид в глубь пустыни, и сказал, что «из этой скалы нужно высечь фигуру наподобие египетского сфинкса, лежащую и приподымающуюся. Она будет символизировать спящую и пробуждающуюся Туркмению, глядящую на запад...». Конечно, капитан хан Йомудский представлял себе Туркмению свободной лишь в привычных ему патриархальных общественных формах, ему не могло и присниться, чем стала его родина через два-три десятилетия.

Вскоре меня познакомили еще с одним «старым закаспийцем», подполковником Малахией Клавдиевичем Маргания, родом с Кавказа, из-под Сухуми, возможно абхазцем, влюбленным в туркменский народ; туркмены прозвали его «Мерген-Ага» (охотник-начальник).

В молодости он служил солдатом в отряде Скобелева и отличился в знаменитой битве при Кушке

[207]

, за что получил офицерский чин и Георгиевский крест. Теперь он был полным георгиевским кавалером — его грудь украшали солдатские и офицерские Георгиевские кресты.

Маргания — Мерген-Ага — командовал одним из кавалерийских туркменских дивизионов. Он заботился о породе, красоте, подборе масти коней своих джигитов, и на парадах его дивизион отличался особой лихостью и выправкой. Все офицеры дивизиона были туркмены.

До Маргания командиром дивизиона был кавказский князь Алиханов-Аварский, тоже выслужившийся из рядовых и разжалованный в рядовые за убийство офицера на дуэли. Алиханов-Аварский был восстановлен в правах во время Восточной войны

[208]

за отчаянную храбрость.

В битве при Кушке Алиханов-Аварский командовал тем туркменским дивизионом, который был составлен из всадников, недавно дравшихся против Скобелева под Геок-Тепе. Как известно, после победы при Геок-Тепе Скобелев предложил всем лихим туркменским воинам перейти на службу России и этим положил основание созданию туркменских дивизионов.

Даже англичане, стоявшие за спиной афганцев в кушкинской авантюре, в описании битвы при Кушке отмечают необычайную смелость туркменских всадников, неудержимой лавиной атаковавших противника, превосходившего их численностью более чем в десять раз
[209]

Мерген-Ага свободно говорил по-туркменски и по-персидски. При пограничных инцидентах его всегда посылали вести дипломатические переговоры с заграничными (персидскими), туркменскими ханами, выполняя директивы начальника области.

Жил он в прекрасно устроенном доме с большим садом, со многими комнатами, убранными, как тогда говорили, «по-восточному», где можно было сидеть, подвернув ноги под себя, на коврах, опираясь на подушки. Угощение тоже подавалось на восточный манер — в маленьких чашечках-пиалах, на подносах, без европейских приборов. Здесь всегда можно было встретить останавливавшихся погостить туркмен, приехавших в Асхабад по своим делам.

Про Маргания говорили, что он тайно принял мусульманство.

Мерген-Ага вел очень замкнутую жизнь, почти не бывая среди русского общества, и говорил мне, что никогда не ухаживал за русскими красавицами. «Нет никого прекраснее туркменки!..» Действительно, женщин он как будто не замечал, даже самые эффектные и пылкие

красавицы Асхабада были бессильны сделать его своим поклонником.

Но у Маргания была тайная любовь, о которой мало кто знал, — богатая вдова-туркменка, жившая самостоятельно, имевшая в степи свой аул, лошадей, скот. Иногда Малахий Клавдиевич исчезал из Асхабада, обычно уезжая на охоту в горы Копетдага, и во время этих поездок тайно посещал одинокое туркменское кочевье.

Эти посещения были большой редкостью, так как вдова, видимо, отличалась свободолюбивым и беспокойным характером, постоянно кочевала по Каракумам, лишь изредка разбивая свою кибитку вблизи Асхабада.

Носивший небольшую черную бороду, стриженную лопаточкой, стройный, высокий, с некоторой полнотой, но очень гибкий, зимой в черной, а летом в белой черкеске с серебряными газырями, Маргания умел держаться со всеми, в том числе с начальниками, с величественным и в то же время вежливым достоинством, а со своими немногочисленными друзьями был прост и сердечен.

Мерген-Ага был замечательным знатоком лошадей, и особенно кровных туркменских пород, славнейших родов и разных мастей. Иногда он проезжал через город на любимом гнедом жеребце, способном легко нести богатырское семипудовое тело седока, а сзади ехали конюхи, ведя в поводу еще двух жеребцов — золотисто-канареечной масти и вороного.

Мы с ним сдружились после того, как Мерген-Ага увидел, что я полюбил Среднюю Азию и мечтаю приобрести туркменского жеребца.

Когда я приехал в этот казавшийся мне сказочным городок-крепость на границе пустыни и диких гор, то долго чувствовал себя как в стране, похожей на мир из романов Фенимора Купера и Майн Рида. И первое, о чем я страстно мечтал, — это иметь дивного верхового коня, самому ухаживать за ним и странствовать на нем в далеких поездках по пустыням и горным ущельям.

Но Мерген-Ага говорил мне: «Не торопись покупать коня. Конь — как родной брат и даже больше. Подожди, я найду тебе первейшего жеребца, золотисто-рыжего или вороного, какой тебе понравится, с широкой грудью, от породистой крови йомуда или поджарого ахалтекинца. Ко мне скоро приедут мои друзья из туркменских кочевий, и я найду тебе коня».

Мерген-Ага сдержал свое слово. С его помощью вскоре я приобрел текинца — золотисто-рыжего Ит-Алмаза (конь-алмаз). А после того великолепного Моро, чистокровного вороного йомуда. И впоследствии Мерген-Ага не один раз оказывал мне свою помощь и покровительствовал, выручал из затруднительных положений.

В Асхабаде тогда печатались две конкурировавшие русские газеты. «Асхабад», либеральная газета, бывшая не в ладах с цензурой, издавалась капитаном артиллерии в отставке З. Д. Джавровым. Про «Асхабад» говорили, что это издание поддерживается из-за рубежа социалистами-революционерами эмигрантами.

Другая газета-полуофициоз «Закаспийское обозрение» издавалась К. М. Федоровым, местным старожилом, автором нескольких книг о Средней Азии, считавшим себя непогрешимым знатоком Закаспия. В ней печатались все официальные приказы и казенные объявления, составлявшие самую доходную статью ее бюджета.

В частных разговорах Федоров намекал на то, что в студенческие годы он был секретарем у Н. Г. Чернышевского, за это побывал в ссылке и потому оказался в Асхабаде.

Сразу по прибытии я стал изучать Среднюю Азию, Туркмению и сопредельные страны и писать о них свои впечатления, очерки, статьи, рассказы, печатаясь в обеих местных газетах, а также в петербургской печати.

«Асхабад» обычно охотно печатал меня, зато «Закаспийское обозрение» вначале тоже печатало, но вскоре приревновало к «Асхабаду» и, почувствовав

угрозу авторитету Федорова, не только не печатало, но даже порою преследовало меня злобными заметками. Посещал я городские библиотеку и музей, собрания членов обществ востоковедения и археологии, исследования Закаспийского края и другие собрания, но особенно я пытался завести дружбу с туркменами — аборигенами страны, изучал туркменский язык, а бывая в туркменских кочевьях, беседовал с их жителями.

II. «ЗАКАСПИЙСКАЯ ОКРАИНА»

1. «ГЕНЕРАЛ-РАКЕТА»

Начальника Закаспийской области и командира Второго туркестанского корпуса, генерального штаба генерал-лейтенанта Деана Суботича сослуживцы прозвали «генерал-ракета», настолько он был вспыльчив и стремителен во всех своих действиях.

Суботич внезапно выезжал на ревизии и был беспощаден в наказаниях и взысканиях за факты притеснения населения, налагаемых им на провинившихся приставов и всяческих других начальников — любителей поживиться, получая «подарки» от подчиненных и зависимых от них.

Генерал был очень подвижный, худощавый, пятидесятилетний красавец небольшого роста с совершенно седой головой, черной бородой и огненными глазами
[210]

Утром следующего дня по прибытии я надел мундир, прицепил шпагу и отправился представляться Суботичу. Одноэтажный выбеленный дом, где находилась канцелярия начальника области, отличался от других домов Асхабада только более внушительной архитектурой, размерами да тем, что перед зданием, в

сквере, возвышался памятник русским воинам, павшим при взятии крепости Геок-Тепе.

Пройдя мимо стоявших у входа казаков-часовых, я попал в приемную, где генерала уже ожидало много посетителей, почти все были офицеры или военные чиновники. Обаятельный личный адъютант, неизменный спутник генерала во всех его походах ротмистр Штапельберг, встретил меня очень дружески, и наши совершенно товарищеские отношения впоследствии продолжались много лет.

Суботич вскоре вышел из своего кабинета и поочередно поздоровался за руку с каждым его ожидавшим. Все официально рапортовали, представляясь. Затем некоторых генерал отпустил, а других по одному принимал в кабинете.

Когда подошла моя очередь, генерал посмотрел на меня в упор черными, живыми, пронизательными глазами, потрепал по плечу и увел к себе.

В его кабинете меня поразила огромная китайская фарфоровая ваза, в полтора человеческого роста высотой, привезенная им из императорского дворца в Пекине или из Мукдена как памятный трофей.

Суботич сказал мне: «У меня был чиновник-переводчик, знавший отлично иностранные и восточные языки. Теперь он, по-видимому, умирает... Я хотел бы, чтобы вы так же, как он, изучили восточные языки, в первую очередь туркменский язык, и сопровождали меня в поездках. На днях мы отправляемся в объезд Закаспийской области. Вы поедете со мною.

От вашего брата я знаю, что вы любите литературу. Изучите не только восточные языки, но также загадочную душу народов Востока и создайте произведения, где раскройте этот непонятный большинству европейцев мир Востока...

Не тратьте времени даром, оно пролетает быстро. Здесь обыкновенно молодежь безрассудно расходует время, спивается от скуки и уезжает с опустошенной душой и карманом!.. Я дам вам возможность поездок по краю, и работы для вас будет много... Олимпия Ивановна

приглашает вас позавтракать вместе с нами. Мы послушаем ваши английские впечатления...»

Когда мы завтракали, Олимпия Ивановна поинтересовалась тем, как я доехал и устроился в городе, советовала перебраться в отдельный маленький домик с садиком при нем, из тех, что сдавались довольно свободно и дешево правительством для чиновников канцелярии начальника области; вскоре я так и поступил.

2. «БЕЛАЯ СМЕРТЬ»

В начале марта 1902 года генерал Суботич с группой сотрудников своей канцелярии выехал в инспекционную поездку на побережье Каспийского моря, и я сопровождал его. Наш путь лежал вначале в Красноводск, а оттуда на остров Челекен и другие острова, где строились нефтяные промыслы обществ «Братья Нобели» и Каткова.

Эта поездка была вызвана жалобами прибрежных прокаженных туркмен на то, что, хотя им были обещаны лечение и питание, о них забыли и они умирают от голода и болезни. Нефтепромышленники также просили заняться судьбой прокаженных, так как завербованные рабочие и технический персонал промыслов, едва узнавали о близости прокаженных, бросали работу и бежали из боязни заразиться и погибнуть ужасной «белой смертью».

А это мешало нормальной работе промыслов, приносило убытки, и Нобели обещали большие деньги на устройство лепрозориев, лишь бы избавиться от прокаженных.

Инспектирующих вез принадлежавший Нобелям большой грузо-пассажирский пароход, черный, с высокой белой трубой, носивший возвышенное, но мало к нему подходящее наименование — фамилию великого голландского мыслителя и скромного гранильщика стекла «Спиноза». На берег съезжали сопровождавшим паровым катером «Меридиан».

На Челекене, где уже вырос лес ажурных нефтяных вышек, была устроена пышная встреча Суботичу. Представители от населения острова и администрация

нефтепромыслов поднесли ему хлеб-соль, после чего все инспектировавшие и сопровождавшие отправились в экипажах и верхами на осмотр нефтяных сооружений.

Серые облака, изредка моросившие мелким дождем, низко повисли над однообразной песчаной равниной, кое-где поросшей колючей сухой травой, поблескивавшей солончаковыми болотцами и испещренной бурыми пятнами просочившейся нефти.

Контрастом этой суровой местности были сопровождавшие вереницу экипажей и верховых лихие всадники-туркмены в ярких красных халатах и черных папахах, они джигитовали и гонялись друг за другом, вырывая большие красные платки.

С нефтепромыслов Суботич проехал в северный аул Корт-Яга, а затем в южный большой аул Кара-Гель, где население промышленно ломкой соли, рыбной ловлей, добычей нефти и горного воска. Аул этот торговал с Персией, где прокаженные были обычным явлением, пользовались полной свободой и бродили по стране или сидели на улицах, выпрашивая себе подаяние. Поэтому вследствие постоянных сношений с Персией и по наследственным причинам в ауле Кара-Гель были прокаженные.

Дорога к аулу шла сыпучими песками, пока не показалась голубая полоса моря. Направо уходила вереница нефтяных вышек, а вдоль берега тянулась цепочка туркменских кибиток. Здесь тоже была подготовлена торжественная встреча.

Путь, сажень на сто, был выстлан коврами, а поверх них раскатана дорожка из белой кошмы, расшитая пестрым цветным туркменским орнаментом.

Толпа туркмен ожидала на окраине аула. Впереди стояли старики аксакалы — в дорогих парчовых «наградных» халатах, с медалями, держали хлеб-соль. Из-за кибиток, закрывая лица платками, выглядывали смуглые туркменки в длинных, до пят, красных одеждах, увешанные серебряными монистами, с браслетами на запястьях, придерживавшие любопытных гололобых ребятишек.

Туркмены окружили Суботича и говорили с ним о своих нуждах через переводчика Эфендиева. Предложение увезти прокаженных в другое место вызвало протест их родственников, заявивших, что «теперь несчастные видят родной аул, слышат голоса своих близких, им легче переносить болезнь. А на отдаленном острове, не видя своих близких, они умрут от горя и будут для нас как уже умершие...».

Суботич прошел к кибитке, где жили прокаженные. Метрах в ста от аула, среди чистого поля, уединенно стояла старая, грязная, покривившаяся кибитка нищенского и нежилого вида. Из нее вышел угрюмый молодой туркмен. Одет он был так же, как его соплеменники по аулу, но в чертах лица его было нечто ужасное: без ресниц и бровей, с толстыми опухольями на лбу, распухшим носом, синеватой, покрытой волдырями кожей. Он окинул нас безжизненным погасшим взором и отвернулся.

За ним вышла старая туркменка, его мать. Генерал Суботич говорил с нею, и мать просила не удалять ее сына на остров прокаженных и сама отказалась туда ехать. Сын и слова не сказал.

С острова Челекен Суботич проехал на остров Огурчинский, куда были собраны большинство прокаженных Закаспия, и посетил другие острова, где они жили. Деан Йованович и там лично обошел поселения прокаженных, беседовал с ними.

В этой поездке медицинские пояснения давал военный врач, впоследствии известный профессор Московского университета Н. В. Богоявленский, изучавший проказу, много сделавший для улучшения положения несчастных больных туркмен, прозванный за это в Закаспии «другом прокаженных».

Больных проказой было много. Меня поразили эти живые трупы, многие калеки, ползавшие на четвереньках — ступни уже отвалились, иные без кистей рук... Больные мужчины и женщины продолжали состоять в браке, имели маленьких детей, больных от рождения, продолжавших жить у родителей.

Для облегчения участи прокаженных и для их изоляции были найдены, с помощью занимавшихся геологическими изысканиями горного инженера Маевского и геолога Иванова, острова, подходящие к устройству лепрозориев.

Олимпия Ивановна, бывшая председателем Общества Красного Креста в Закаспии, организовала по области сбор средств в помощь прокаженным. В Асхабаде, Мерве, некоторых других городах были устроены благотворительные спектакли и базары, чистый сбор шел в пользу больных и на устройство лепрозориев.

На собранные деньги закупили и отправили больным для бесплатной раздачи одежду, белье, посуду и продукты, а выдачу медикаментов и лечение организовали через красноводского уездного врача, сообщившего позже об организации нескольких лепрозориев и некотором улучшении жизни больных «белой смертью».

3. ВДОЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ

С острова Огурчинского генерал Суботич на «Спинозе» проехал к персидской границе, в пограничный городок Чикишляр, маленький, более похожий на военное поселение. Возле него находились крупные рыбные промыслы миллионера Лианозова.

В Чикишляре Суботич разнес начальника отряда местной пограничной стражи за то, что у того пушки стояли не на месте — в лощине — и плохо была организована круговая оборона отряда. Генерал сказал, что пушки должны обстреливать местность, а не прятаться (это были легкие полевые орудия), и показал на примере, как организовать круговую оборону.

Затем Суботич поехал вдоль границы, частью в экипаже, а иногда верхом, в сопровождении начальника пограничной стражи, по военной дороге, построенной еще во времена Скобелева.

В одном месте, на самой границе с Персией, Суботича встретила небольшая группа туркменских всадников. Они сошли с коней и выразили восточный «салям» русскому «ярым-падишаху» (полуцарь).

Это был, со своими телохранителями, знаменитый глава пограничного туркменского племени Сатлык-хан, постоянно живший в Персии, известный своими набегами на туркмен, живших в русском Закаспии, и похищением пленных, которых он держал в цепях, заставлял копать арыки для орошения полей туркмен его племени, живших в Персии, занимаясь земледелием.

В разговоре с Сатлык-ханом Суботич держался довольно приветливо, но все сопровождавшие генерала ожидали каких-то внезапных, каверзных, враждебных действий от известного своей хитростью Сатлык-хана, чьи спутники, по-видимому, скрывались невдалеке за холмами. Генерала Суботича конвоировал небольшой конный отряд — всего десять — двенадцать казаков.

Сатлык-хан, высокий, худощавый туркмен с очень тонкой талией, гибкий и порывистый в движениях, просил, чтобы его не считали врагом «белого царя», и сказал, что прибыл нарочно, дабы выразить почтение его генералу и просить защиты для персидских туркмен от притеснений персов...

Суботич обещал рассмотреть эту просьбу Сатлык-хана и позже отправил в Персию комиссию, поручив выяснить какие-то претензии персидских туркмен.

После этой встречи генерал с конвоем поехал далее вдоль границы, а мы с возникшим-солдатом следовали за ними в маленькой тележке, и мы отстали.

Дорога вилась берегом речки, делая много поворотов, поэтому часть пути я шел, сокращая путь напрямик, пересекая изгибы берега. В одном месте, на лужайке, поросшей мелкими кустами, среди обломков камней и щебня, внезапно я увидел — шагах в десяти впереди себя — огромную змею, в рост человека, поднявшуюся на хвост, шипевшую, раздувая шейные мешки, выбрасывая тонкий язык.

Я остановился и замер, окаменев и думая, что моя красивая шпага едва ли поможет в схватке с гигантской ядовитой коброй... Так я стоял неподвижно, следуя своему правилу, говорившему, что иногда спокойная нерешительность — высшее проявление мужества.

Через несколько минут, показавшихся мне часами, змея упала с легким шумом, похожим на звук падения каната, затем быстро отползла в сторону. Раза три она внезапно поднималась из высокой травы и камней, замирала следя, не делаю ли я каких-либо движений, затем уползла и скрылась...

Вскоре мы нагнали Суботича, и дальше я ехал вместе с отрядом. Вернулись мы через Кызыл-Арват, пробыв в пути около двух недель.

Некоторое время спустя генерал Суботич сказал мне: «Когда вы рассказывали про свою встречу со змеей, я подумал, не является ли этот рассказ плодом вашего поэтического воображения?.. Но сегодня я получил донесение с пограничного поста неподалеку от того места, где вы тогда были... Пограничники убили колоссальную кобру длиной в сажень! Ее шкуру мы вскоре увидим в асхабадском городском музее...».

Написанные мною тогда «Путевые заметки во время поездки начальника Закаспийской области 9 — 19 марта 1902 года», повествующие о маршруте поездки, многочисленных просьбах населения по пути следования и сделанных в связи с этим генералом Суботичем необходимых распоряжениях, напечатали асхабадские газеты.

Одновременно свои первые корреспонденции о Туркмении я послал в петербургскую печать и в «Ревельские известия» своему отцу.

4. СЦЕНЫ АСХАБАДСКОЙ ЖИЗНИ

Вскоре после первой поездки с генералом Суботичем, когда я еще жил в пансионе мадам Гитар, со мною произошло несколько событий, характерных для нравов асхабадского общества того времени.

Однажды ночью я проснулся от неистового стука в дверь. Затем в комнату ворвались трое молодых армян. В одном из них, державшем в руке огромный револьвер, я узнал владельца оружейного магазина Аванесова. Двое других, мне незнакомые, обежали комнату, заглядывая в углы, стали шарить под кроватью и в шкафу. «Никого

нет!..» — сообщили они Аванесову трагическим шепотом.

Оказалось, что Аванесов ищет по всему городу сбежавшую от него француженку Мари и заподозрил ее присутствие здесь, «у молодого приезжего холостяка».

В порядке извинения и в знак примирения Аванесов подарил мне свой револьвер, и этот «смит-и-вессон» неожиданно пригодился. При состоявшейся на следующей неделе покупке коня я отдал револьвер в придачу за стоимость Ит-Алмаза (хозяин просил много, а уступил задешево) его продавцу-туркмену, восхитившемуся огромным «алтатаром»!

В другой раз как-то вечером мы с Мерген-Агой зашли в Военное собрание, где попали на кутеж штабс-капитана пограничной стражи N, приглашавшего к своему столу всех подходивших офицеров и других знакомых. Было, как говорится, разлитое море!

«В низовьях Атрека он нагнал богатейший караван с контрабандой для хана Хивинского и после горячей перестрелки задержал караван... За это дело штабс-капитан получит тысяч пятьдесят. И кутит в счет будущей премии всю!..» — говорили офицеры.

Штабс-капитан усадил Мерген-Агу рядом с собой, а мне указал место у противоположного дальнего конца стола, где группировались молодые офицеры.

Мне это не понравилось, а потому, присев за стол, я ничего не пил, лишь прикасаясь губами к бокалу, когда тамада провозглашал очередную здравицу.

Штабс-капитан, хотя и охмелевший изрядно, заметил мою обструкцию и громко высказался весьма неуважительно насчет «всяких штрюцких», этих «развязных шпаков», которым место «в Клубе велосипедистов, а не в среде русского воинства!..».

Услышав реплику N, офицеры громко расхохотались, поглядывая в мою сторону. Тогда я встал, спокойно достал из бумажника и положил возле своего прибора двадцатипятирублевку и сказал, что прострелю штабс-капитану его развязный язык и покажу тем, как

«штрюцкие» умеют стрелять, повернулся и ушел не простившись.

Эта словесная стычка едва не закончилась дуэлью.

В Военном собрании дело замял Мерген-Ага, но на другой же день штабс-капитан N и я, оба, были вытребованы к генералу Суботичу для распёка.

Тогда Суботич сказал мне:

— Я хочу, чтобы вы занимались литературным трудом и научными исследованиями, а не попадали в ненужные и глупые столкновения между штатскими и военными. Для того чтобы вас больше не могли назвать неопытным «зеленым шпаком», даю вам ответственное поручение...

Вы проедете караванным путем от Асхабада до Хивы и обратно. Составите отчет о ваших наблюдениях за состоянием колодцев и движением караванов на пройденном пути. В Хиве держитесь осторожно, постарайтесь повидать хана Хивинского. В разговоре, как будто случайно, упомяните об усилившейся, учатившейся за последнее время контрабанде. Любопытно, что скажет об этом старый контрабандист?.. При Суботиче и позже через Асхабад несколько раз проследовал эмир Бухарский, обычно ежегодно ездивший в Петербург и проводивший жаркое время лета в Крыму.

Суботич приказал устроить эмиру пышный прием — достархан. В двух залах дома начальника области были составлены длинные столы, украшенные цветами, уставленные изысканным угощением и коллекционными винами.

Сопровождаемый многочисленной дворцовой свитой, эмир, высокий, величественный, в цветном парчовом златотканом халате с генерал-адъютантскими эполетами и алмазными аксельбантами, со множеством русских орденов и звезд, медленно обошел эти столы, прикоснувшись только к виноградной кисти.

Но он был очень доволен таким проявлением почтительности к нему и позже назначил, по представлению генерала Суботича, бухарские ордена некоторым сотрудникам начальника области.

По тогдашним представлениям, в обществе эти эмирские ордена не шли в сравнение по ценности с русскими, но выглядели они необыкновенно внушительно.

Поэтому полученная мною позже огромная звезда — «Орден столичного города благородной Бухары» — со множеством золотых лучей и золотыми письменами арабской вязью на фоне синей эмали в центре звезды производила на непосвященных потрясающий эффект, когда на торжественных приемах я прицеплял бухарскую звезду к черному фраку.

5. КОНЕЦ КАРЬЕРЫ СУБОТИЧА

Эпоха генерала Суботича быстро закончилась. Он пробыл в Закаспии полтора года.

В августе 1902 года он заложил первый камень в строительство новых зданий — областного музея и библиотеки, вскоре после того был вызван в Петербург, назначен Приамурским генерал-губернатором и уехал в Хабаровск, забрав с собою нескольких особенно приближенных к нему офицеров и чиновников.

Я остался служить в Асхабаде. Но мне суждено было еще несколько раз повстречаться с генералом Суботичем при разных обстоятельствах: на Дальнем Востоке в годы русско-японской войны и в Ташкенте после ее окончания, когда я одно время служил в Переселенческом Управлении.

На место Суботича незамедлительно прибыл новый начальник области, Генерального штаба генерал-лейтенант Евгений Евгеньевич Уссаковский, бывший до того помощником начальника Главного штаба, и с ним приехало много новых офицеров и чиновников.

Уссаковский немедленно стал повсюду насаждать своих людей, а тех, кто пользовался доверием Суботича, выживать.

Когда все военнослужащие и чиновники прежней канцелярии начальника области представлялись новому начальнику, то меня Уссаковский принял очень сухо, я был для него «ничем», не более чем губернский секретарь — мелкая сошка. Вскоре я узнал, что мое

жалованье сокращено со 150 до 100 рублей в месяц, конечно с ведома генерала.

Я понял, что теперь меня здесь только терпят и ничего хорошего впереди ждать не приходится. Тем не менее я решил пока оставаться на прежней службе, чтобы осуществить задуманные путешествия и поближе узнать Среднюю Азию.

И вскоре с помощью Маргания я все же добился согласия на указанную Суботичем и очень увлекавшую меня командировку в Хиву, через пустыню Каракум.

Любопытен конец карьеры и государственной деятельности генерала Суботича, открывающий внутреннее содержание этого выдающегося человека.

В 1906 году Суботич недолгое время был генерал-губернатором Туркестана. После своего назначения, перед отъездом в Ташкент, он заявил петербургским журналистам: «...До сих пор меня считали либералом. Я всегда относился доброжелательно ко всем общественным начинаниям и даже поощрял усиление общественной самодеятельности. То же самое могу сказать о своем отношении к печати. За все это меня называли даже «красным»...

Я буду управлять краем по совести, относясь к обществу с искренней доброжелательностью, но противодействуя крайностям...»

[211]

В духе этого заявления, реагируя на происшедшие до его прибытия в Среднюю Азию еще в 1905 году революционные выступления, генерал Суботич, избегая репрессий, повел переговоры с главными деятелями революционного движения, стал смягчать полицейский режим, выпускать из тюрем арестованных, отказался применить войска против революционеров и пытался удовлетворить требования бастовавших рабочих, лично беседуя с их делегатами.

Суботич выпустил из тюрьмы арестованных учителей-забастовщиков в Самарканде, офицеров — участников

Кушкинского восстания, группу узбеков, ожидавших суда за Андижанское восстание, редакторов нескольких местных газет — «Среднеазиатская жизнь», «Русский Туркестан» и других, отменил смертный приговор солдату, покушавшемуся на жизнь своего генерала, повел переговоры с руководителями бастовавших ташкентских железнодорожных мастерских, сменил начальство и облегчил условия содержания в ташкентской тюрьме, проводил ряд других либеральных действий.

Однако местная высшая военная и гражданская администрация, феодальная знать, купечество, реакционно настроенное офицерство Туркестана, напуганные растущим революционным движением, требовали от генерала немедленно подавить войсками выступления рабочих за свои права, а не «потворствовать им своим либерализмом», и жаловались в Петербург, требуя смещения нового генерал-губернатора.

«...Генерал Суботич — боевой генерал, сражавшийся за престиж России на поле брани, но не воздвигший как генерал-губернатор ни одной виселицы, — революционер!..

Генерал Суботич носит мундир, закопченный в пороховом дыму, — писала либеральная газета «Русский Туркестан», — гнусным клеветникам этого мало! Они хотели бы, чтобы генерал Суботич еще запятнал свой мундир кровью народной...

Какой он генерал-губернатор, если ни одна мать не произносит с проклятием его имени, если он не воздвиг ни одной виселицы, если на его руках не запеклась кровь ненавистных революционеров!..»

[212]

С роспуском Государственной думы и приходом к власти Столыпина телеграфным распоряжением из Петербурга генерал Суботич был отстранен от должности. За «либеральничанье и разговоры с левыми» генерала

вынудили подать в отставку, он был отозван в Петербург с формальным назначением «в резерв — членом Военного совета».

Узнав о смещении Суботича, один из офицеров Ташкентского гарнизона сорвал со стены портрет генерала, бросил на пол и топтал ногами, крича: «Туда тебе и дорога, революционер!...»

А реакционная ташкентская газета написала такое: «Отозванный на днях туркестанский бывший генерал-губернатор Суботич еще позорнее Уссаковского заигрывал с забастовщиками, нередко открыто становясь на их сторону... Пора очистить армию от разных Уссаковских, Суботичей и им подобных генералов!...»

[213]

С отставкой Суботича крайне правые воспряли духом: в Туркестане ввели военное положение, а генерал-губернатором назначили опытного усмирителя польского восстания, «холерного бунта» в Ташкенте и революционного движения в Маньчжурской армии, генерала от инфантерии Гродекова.

Та же газета со злорадством описала отъезд генерала Суботича из Ташкента:

«В четверг выехал из Ташкента бывший генерал-губернатор Туркестана генерал-лейтенант Суботич. Сформированный для его превосходительства поезд был подан на 5-ю версту на переезде у Садового Заведения... Генерал Суботич с супругой сели в вагон, подъехав к месту посадки в экипажах...

Ташкенту приходится в первый раз быть свидетелем такого отъезда главного начальника края. До настоящего времени все генерал-губернаторы покидали его при другой обстановке...»

[214]

Я был одним из немногих, кто приехал «на 5-ю версту» проводить генерала, и встретил на этих проводах, больше похожих на высылку, всего несколько человек из круга его бывших приближенных, решившихся все же почтить вниманием тайно уезжавшего опального военного и государственного деятеля, принятого здесь, в Ташкенте, с большой помпой при своем прибытии, менее года тому назад...

Несколько позднее я повстречался с генералом Суботичем в Петербурге. Он был в штатском и не у дел. Мы обменялись воспоминаниями и больше не свиделись. Говорили, что Суботич уехал за границу, на родину, и там окончил свои дни.

6. «ШУТКА» ГЕНЕРАЛА КОВАЛЕВА

Когда в конце 1902 года, в связи с назначением на Дальний Восток, Суботич был экстренно вызван в Петербург, то временно за начальника области оставался генерал В. И. Ковалев. Его имя вскоре скандально прогремело на всю Россию, показав, каковы были нравы некоторых офицеров-самодуров закаспийской окраины...

Генерал-майор Ковалев был командиром казачьих войск в области, начальником казачьей бригады, жил одиноко и устраивал каждое воскресенье «холостой ужин» вместе со своими любимцами из молодых офицеров.

Про него говорили, что Ковалев пользовался особыми симпатиями при царском дворе за свое остроумие и знание бесчисленного количества анекдотов.

Среднего роста, моложавый, с усиками, лихо закрученными кверху, в черной черкеске с белыми газырями, он был популярен в военной среде и имел большой успех у местных дам.

До приезда в Асхабад Ковалев одно время был начальником казачьего конвоя при царе и потому носил форму 1-го Таманского казачьего полка. Особенно покровительствовала Ковалеву какая-то великая княгиня, и поэтому он считал себя недосыгаемым и непогрешимым в отношении всех остальных.

Ковалев питал особую нежность к жене начальника штаба генерала Суботича, полковника Генерального штаба Старосельского; но та, имевшая двух дочерей на выданье, внешне неприступная и строгая, одевавшаяся под англичанку, всегда держалась очень корректно, не давая никаких поводов для сплетен.

Однако однажды офицерские языки, развязавшиеся по-пьяному за ужином у Ковалева, намекнули тому, что якобы некий человек пользуется особым благоволением госпожи Старосельской, любимец всех асхабадских дам, высокий, стройный, в пенсне, к тому же обладатель первого в Асхабаде автомобиля, что вызывало зависть одних и насмешки других, — холостяк доктор Забусов.

Впрочем, асхабадские дамы стремились к Забусову на прием по понятным причинам — он был врач-гинеколог. Услышав, что какой-то Забусов осмеливается быть или стать конкурентом ему — Ковалеву! — генерал объявил пировавшей компании, что он собьет спесь с этого Забусова и сделает его всеобщим посмешищем у них на глазах!

Тут же Ковалев послал нескольких лихих таманцев-вестовых к Забусову, и те объявили доктору, что генерал его требует немедленно к себе. Удивленный Забусов объяснил, что он гинеколог и ему нечего делать у генерала, но таманцы настаивали, утверждая, что Забусов должен явиться к генералу вообще как врач, так как Ковалеву якобы стало плохо.

Не ожидавший ничего дурного Забусов приехал.

Тогда полупьяный генерал Ковалев приказал казакам: «Сдерите с него штаны и отхлестайте нагайками!..» Дисциплина — превыше всего, и казаки не осмелились ослушаться.

Забусов держался очень мужественно, после экзекуции оделся и молча ушел...

«Он никогда не осмелится рассказать, что его выпороли!..» — сказал, посмеиваясь и покручивая ус, генерал Ковалев.

В ту же ночь Забусов пошел на телеграф и послал две телеграммы. Одну — военному министру, вторую — в газету «Речь».

На другой день утром Забусов явился на прием к только что прибывшему новому начальнику области генералу Уссаковскому и рассказал тому, что с ним произошло.

Уссаковский, поглаживая по своей привычке длинные, шелковистые усы, молчал, затем меланхолично спросил: «Может быть, все это вам показалось?.. Это невероятно!.. В ваших же интересах промолчать. Разглашение такой истории вызовет слишком большой скандал!»

Доктор Забусов ответил, что молчать уже поздно, и, ни с кем не простившись, в тот же день уехал в Симбирск.

Телеграммы сделали свое дело, и это «невероятное происшествие» вызвало большое волнение во всей русской печати и отрицательную реакцию в обществе и военных кругах. Газеты сообщали о крепостных нравах и разгуле самодурства властей на окраинах России, об этом деле писал и В. Г. Короленко и другие известные журналисты того времени.

Остряк и шутник генерал Ковалев за свою «шутку» получил по заслугам: он был предан Высшему военному суду, лишен военного звания, чинов, орденов и пенсии...

Во время русско-японской войны Ковалев приехал в Маньчжурию, в штаб главнокомандующего. Я присутствовал при том, как генерал Куропаткин, в то время уже смещенный с должности главнокомандующего, но остававшийся командующим 1-й Маньчжурской армией, проезжавший мимо верхом, остановился и, обменявшись коротким разговором с Ковалевым, сказал ему: «Вам здесь придется снова заслужить воинское звание!..»

Будучи в Маньчжурии, Ковалев просил дать ему любое назначение, хотя бы нижним чином. Но, не дождавшись решения по своей кассационной жалобе и не получив никакого назначения, Ковалев вернулся в Россию.

В поезде, где-то между Москвой и Кавказом, бывший генерал Ковалев застрелился.

III. «ЧЕРЕЗ СЫПУЧИЕ БАРХАНЫ»

1. КАРАВАННОЙ ТРОПОЙ

Поскольку с отъездом генерала Суботича его поручение — посетить Хиву — осталось лишь на словах, не закрепленное приказом, мне пришлось подать формальный рапорт по этому поводу генералу Уссаковскому, где, в числе прочего, в конце ноября 1902 года я так излагал цели этого путешествия:

«...Так как те редкие экспедиции в Хиву, например по исследованию старого русла Амударьи, преследовали главным образом свои специальные цели, и уже прошло много лет, как из всего северного района Закаспийской области не получалось, насколько мне известно, обстоятельных и точных сведений, то я обращаюсь с просьбой разрешить мне поездку из Асхабада через пески к хивинским владениям и оттуда на запад до Кара-Бугазского залива, для составления отчета о современном состоянии этих частей Закаспийской области.

Быть может, улучшенные способы сообщения, исправление колодцев, найденные новые источники воды и разные другие мероприятия могли бы помочь туркменскому населению пользоваться всем этим районом, как для пастьбы скота, для сбора лесных материалов, так, вероятно, и для поселений, так как развалины многочисленных крепостей, встречающиеся постоянно по всему пути до Хивы, доказывают о бывшей здесь когда-то возможности даже оседлой жизни в песках...»

Другой официальный повод моей поездки в Хиву был такой.

В Асхабаде жил ишан (мусульманский «святой старец»), прозванный «ишан-шайтаном», так как он, помимо святых дел, хорошо устраивал и дела коммерческие.

Этот ишан взял на себя подряд — прочистить колодцы караванной дороги между Асхабадом и Хивой. По

мусульманскому поверью, копать колодцы могут только «святые люди», поэтому подряд и был передан «святому» ишану.

Однако проезжавшие жаловались на то, что большая часть колодцев обвалилась и воды в них нет. Нужно было проверить состояние колодцев, а также узнать, выкопаны ли новые вместо осыпавшихся. И как ишан выполнил свой подряд?

В «Открытом листе», выданном мне канцелярией, указывалось, что я «командирован начальником области к хивинским владениям для научно-статистических исследований».

Я решил пересечь пустыню без конвоя, в сопровождении лишь одного спутника. «От большого конвоя прошу меня освободить, — писал я в рапорте, — так как следуемых мне прогонных совершенно недостаточно для довольствия большого каравана в течение 1 1/2 месяца, а также потому, что, будучи опытным в утомительных и опасных путешествиях, я не боюсь могущих встретиться препятствий; однако я не могу взять на себя ответственность за безопасность назначенного неопытного конвоя...» Ради собственной безопасности я не хотел рисковать жизнью других.

Отправляясь в путь, я взял себе в товарищи старого аламанщика (степного разбойника) Шах-Назара Карабекова, давно бросившего это занятие и теперь урядника туркменского дивизиона, каким командовал Мерген-Ага, отличившегося в битве при Кушке и получившего за подвиг Георгиевский крест, на котором, как бы по особой привилегии для мусульман, изображался всадник — святой Георгий.

Шах-Назар, крепкий сухопарый старик, в своей молодости совершал набеги на Персию и на Хиву, уводил оттуда в полон коней. Он отлично знал караванные дороги и тропы Каракумов и оказался превосходным проводником в наших трудных переходах по пустынной, лишенной корма местности.

Все имущество Шах-Назара — конь, винтовка и трубка — было всегда с ним, и он говорил, что они «верные

друзья джигита до гроба: конь везет, винтовка бьет врагов, трубка веселит сердце. И все трое молчат. А женщина — не может не говорить с утра и до ночи...».

Мы продвигались верхом: я — на недавно приобретенном рыжем Ит-Алмазе, Шах-Назар — на поджаром вороном жеребце текинской породы. За каждым из нас в поводу шла вьючная лошадь, несшая бурдюки с водой, снаряжение и провиант.

Перед отправлением в поход мне казалось, что я достаточно тщательно к нему подготовился. Но это было мое первое дальнее путешествие по пустыне и оно принесло несколько сюрпризов, уроки которых я усвоил на всю жизнь.

Караванный путь из Асхабада в Хиву мог называться дорогой весьма условно. На нем не было никаких признаков того, что обычно присуще дороге: ни дорожного полотна, колеи от колес, следов копыт верблюдов, подков коней, ни опознавательных или измерительных знаков, указателей направления, столбов или камней.

Вначале я не мог понять, чем руководствуется Шах-Назар, уверенно направляя наших коней от одного колодца к другому и действительно находя в пустыне эти единственные искусственные сооружения на дороге.

Окруженный волнообразной линией неразличимых между собой песчаных барханов, под солнцем, высоко и неподвижно висевшим весь день над головой в центре небосвода, Шах-Назар спокойно и уверенно двигался вперед, то поднимаясь, то спускаясь по склонам бесчисленных застывших волн песчаного моря, простиравшихся до горизонта, а за ним следовали я на Ит-Алмазе и вьючные лошади.

Удивительное чутье в сочетании с острой наблюдательностью и огромным опытом помогали Шах-Назару безошибочно ориентироваться в однообразной пустыне.

Не имея часов, Шах-Назар всегда знал время суток, без компаса определял направление стран света, без карты точно знал, где находится, и там, где я не видел ничего,

кроме расплывающейся в знойном мареве волнистой линии песков, он на огромном расстоянии замечал — белеющие кости павшего верблюда, редкие заросли корявого саксаула, темную полосу глинистого такыра, бывшие для Шах-Назара указателями, подтверждавшими правильность его пути.

Шах-Назар никогда не задумывался над поисками дороги, и расспрашивать его, как он ее находит, было, в его глазах, странное занятие. Наоборот, он удивлялся тому, как это я не вижу дороги, такой ясной для него самого.

Мы выехали из Асхабада в начале марта 1903 года, когда пришла весна, Каракумы покрылись коврами цветущих лиловых ирисов и малиновых тюльпанов, а в песках кое-где зеленела трава. Путь наш оказался трудным, дважды подымались песчаные бураны, а один раз даже выпал густой снег.

Колодцы должны были находиться на расстоянии дневного перехода, примерно в двадцати — тридцати километрах один от другого, но в действительности все оказалось не так, как это было помечено на карте. Одни колодцы исчезли под грядямидвигающихся песков, другие обрушились или пересохли так, что нам приходилось по двое-трое суток рассчитывать лишь на скудный запас воды в своих бурдюках.

Большинство уцелевших колодцев было накрыто сооружениями купольной формы из ветвей саксаула, обмазанных глиной, куда вход закрывался хворостяной плетенкой. Такой же плетенкой накрывалось устье колодца. Очень глубокие и узкие, до двадцати метров глубиной и около метра в диаметре, колодцы изнутри были оплетены, наподобие корзинок, ветвями саксаула.

Трудно было определить, что сделал «святой ишан» для расчистки колодцев; с той поры, как он получил подряд на эту работу, прошло несколько лет, и колодцы находились без всякого присмотра.

Их состояние теперь зависело от случая, природы, путников. Но было несомненным то, что они лишь частично пригодны и нуждаются в серьезном ремонте.

Воды в них было мало, при доставании ее кожаными складными ведрами вода быстро замутнялась, и надо было долго ждать, пока она наберется вновь.

С сильным привкусом, солоноватая и горьковатая, отдающая затхлостью, а то и падалью, от попадавших в колодец змей, ящериц, сусликов и других степных зверьков, нам, изнуренным жаждой и зноем, эта вода тогда казалась слаще «струй горного потока»...

2. АЛЧНОСТЬ АЛЛА-НИЯЗА

Я помечал наш путь на карте и через несколько дней пути обратил внимание на то, что начиная с одного пункта дорога дальше идет как бы по дуге большого круга диаметром примерно в два-три перехода, и указал на это Шах-Назару.

Мой спутник объяснил, что есть старая, заброшенная дорога, соединяющая концы этой дуги напрямик, словно тетива, стягивающая концы согнутого лука, но уже много десятилетий караваны по ней не ходят, — «есть там несколько колодцев, но вода в них дурная, отравленная. Если верблюд, лошадь, человек попьют из этих колодцев, у них раздуваются животы, они чернеют и умирают в жестоких мучениях...»

На ночном привале Шах-Назар рассказал печальную историю гибели этих колодцев.

«...Много лет назад недалеко от этих мест в зимнюю пору разбивало свои кибитки кочевье обширного и богатого туркменского рода хана Алла-Нияза, откуда происходил и Шах-Назар. На лето кочевье уходило к пастбищам в предгорьях Копетдага, где жара не так сильна, много воды, корма для скота, хорошая охота.

Отец Шах-Назара погиб в перестрелке с персами при одном из набегов, мать умерла от поветрия черной оспы. Шах-Назар вырос сиротой в кибитке Алла-Нияза. Он помогал пасти баранов, следил за лошадьми, чистил оружие, сопровождал в походах.

Так продолжалось из года в год. Кочевье Алла-Нияза быстро богатело. Почти каждую осень, перед тем как вернуться в пустыню, Алла-Нияз с джигитами отправлялись в набег через горы на персидские селения.

Правда, не все возвращались обратно, иных недосчитывались, другие харкали кровью, но зато у остальных вьючные лошади прогибались под тороками с награбленным добром, в поводу шли красивые кони, а сзади плелись рабы-персы со связанными за спиной руками, бросавшие испуганные взгляды на своих хозяев, и плачущие женщины с распущенными волосами несли маленьких детей в платке за спиной.

Алла-Нияз богател больше всех, но, видно, ему этого было мало, потому что от его алчности произошло великое несчастье для всего племени.

Однажды весной в кочевье пришел небольшой караван. Это возвращался из Персии старинный приятель Алла-Нияза, Берды-Бай, постоянно кочевавший со своим родом в низовьях Амударьи.

Он возвращался, сидя на великолепном белом арабском скакуне, лошади породы очень редкой и высоко ценимой туркменами, в сопровождении нескольких джигитов. Берды-Бай промышлял не набегами, а торговлей и после удачной поездки в Мешхед вез серебряные краны, персидские шелка, териак, сахар, другие товары.

С первого взгляда Алла-Нияз влюбился в арабского скакуна и стал просить Берды-Бая продать ему белого красавца за любую цену. Берды-Бай отказался наотрез, объяснив, что жеребец ему нужен на племя, и предложил в знак старой дружбы подарить Алла-Ниязу лучшего жеребенка из первого же приплода от белого скакуна.

Утром караван Берды-Бая ушел, а через несколько часов после того Алла-Нияз в сопровождении двух самых верных джигитов уехал на охоту.

Вернулся Алла-Нияз лишь через три дня, один, левая рука была перевязана оторванной полой халата, а в поводу за ним шел белый арабский скакун.

«Берды-Бай передумал, продал мне жеребца, — объяснил Алла-Нияз сбежавшимся людям, — а мои джигиты поехали с Берды-Баем в Хиву, они скоро вернуться...» Сообщив это, он приказал сворачивать кибитки и объявил, что «утром уходим к персидским горам...», затем скрылся в своей кибитке.

Женщины подхватили под руки и увели завопивших жен обоих джигитов, но никто не осмелился перечить главе рода. Однако все переглянулись и опустили взоры, поняв, что Алла-Нияз уходит в горы раньше срока не случайно...

Ночью собаки сбежались на окраину кочевья и лая умчались в степь. Потом они вернулись, кроме нескольких оставшихся в степи и жалобно завывавших.

Несколько юношей пошли в степь на далекий вой собак. К утру они нашли на склоне бархана голого, покрытого кровью, потом и землей, умиравшего от ран джигита, за которым по пескам тянулся кровавый след.

Умиравший был одним из двух джигитов, сопровождавших Алла-Нияза. Он хрипел, выплевывая кровавую пену, и умер на руках своих родичей, не сказав ни одного слова. Всех поразило, что он был прострелен в спину и жестоко изрублен.

Наутро все мужчины во главе с Алла-Ниязом помчались в степь по кровавому следу. Он привел к разрытой могиле в песках, где нашли второго джигита, тоже застреленного и зарубленного.

Алла-Нияз сказал, что это убийство мог совершить только Берды-Бай и его караван. Но напрасно искали туркмены по окрестным холмам и тропам караван Берды-Бая. Он пропал бесследно, словно погрузившись в песчаную пучину.

Алла-Нияз торопил с уходом в горы. Все чувствовали, что за этой трагедией кроется тайна, но такова была сила власти Алла-Нияза, что и тут никто не посмел его послушаться. Джигитов похоронили, и кочевье ушло к персидским горам.

А зимой того же года, когда племя, возвратившись в прежние места, раскинуло кибитки, ночью, когда все спали, внезапно на кочевье напал хорошо вооруженный отряд.

Джигиты из рода Берды-Бая беспощадно вырезали всех мужчин кочевья Алла-Нияза, включая стариков; женщин и детей взяли в полон, немногие уцелевшие разбежались по пескам. Все ценное имущество погрузили на

верблюдов и лошадей, кибитки и все остальное сожгли. Трупы сбросили в колодцы и разрушили их.

Все это произошло быстро, и в ночной резне погиб Алла-Нияз.

Шах-Назара с другими юношами племени продали в рабство на невольничьем рынке в Хиве.

Влачась с деревянной колодкой на шее и руками, связанными за спиной, позади конного отряда, подкалываемый острыми пиками, глотая пыль и песок, поднимаемый копытами, Шах-Назар узнал причину ужасного уничтожения его рода.

Оказывается, стоустая молва донесла известие о пропаже каравана Берды-Бая и до устья Амударьи. Сыновья Берды-Бая с джигитами отправились на розыски. Долго они не могли ничего обнаружить, пока не обратили внимание на то, что одна группа колодцев в районе исчезновения каравана Берды-Бая обвалилась, пересохла, ее стали огибать другие караваны, продвигаясь по цепочке иных колодцев.

В этом богатом землетрясениями районе обвал колодцев не редкость. Все же сыновья Берды-Бая проехали к заброшенным колодцам, действительно обвалившимся, и, хотя они умирали от жажды, не поленились их отрыть и очистить.

На дне одного колодца нашлись трупы Берды-Бая и его джигитов, застреленных и зарубленных. Однако лошадей и верблюдов каравана, его вьюки и мешки с кранами найти не удалось.

Сыновья Берды-Бая похоронили джигитов в песках, а труп отца отвезли в родное кочевье. Потом один из сыновей, прихватив побольше воды на «заводной» лошади, вернулся к месту гибели каравана.

После долгих поисков в песке, отрытом из колодца с трупами, нашлась роговая пуговица с серебряной насечкой, а еще прежде из одного трупа была извлечена засевшая в лопатке пуля нарезной винтовки английской работы; все признали, что пуговица и пуля принадлежали Алла-Ниязу, и была объявлена кровная месть...

«Так, из-за алчности Алла-Нияза, — говорил Шах-Назар, — я стал рабом одного хивинского кузнеца. Долго я бил молотом по наковальне, пока мне, уже ставшему взрослым мужчиной, удалось перерубить цепи на ногах и бежать в пустыню, где, на счастье, я не погиб, а — хвала Аллаху! — остался жив, подобранный проходившим мимо меня караваном...

А те колодцы стали называть Аджи-кую (Горькая вода), так как вода в них сделалась непригодной для питья. С той поры колодцы заброшены и караваны их огибают...»

3. У МЕРТВЫХ КОЛОДЦЕВ

Температура в пустыне менялась очень быстро. Днем пекло солнце, а ночью подмораживало. На рассвете иней серебрил стволы винтовок, стремяна и пряжки седел, на которые мы склоняли головы, засыпая. Затем, с первым лучом солнца, приходило тепло.

Когда, слушая неторопливый рассказ Шах-Назара, я лежал у багровых угольев слабо тлеющего костра, поворачиваясь, грея то один, то другой подмерзающий бок, то у меня возникла мысль пройти заброшенным путем, осмотреть мертвые колодцы и установить, не стали ли они вновь пригодны для питья? Это могло бы намного сократить существующую караванную дорогу.

Но Шах-Назар стал отговаривать меня от такого намерения, заявив, что «у Мертвых колодцев теперь поселились злые духи — дэвы, и если мы нарушим их покой, то навлечем на себя множество бед на дальнейшем пути...».

Это суеверное опасение Шах-Назара возымело обратное действие — еще более возбудило мое любопытство. Бурдюки позволяли нести с собой запас воды для нас и лошадей на трое суток. Я рассчитывал, что если мы их наполним и вволю напоим коней, то, установив строгий «водяной паек», спокойно пройдем заброшенной караванной дорогой.

К несчастью, в середине ночи нас разбудило конское ржание, рев верблюдов, чьи-то крики и лай собак, затем к ночлегу подошел задержанный в пути песчаной бурей встречный караван из Хивы. Его погонщики, чтобы

напоить множество животных, мигом опустошили колодцы, на дне их осталась одна грязь...

Утром, в толчее общего подъема, нам не удалось вволю напоить своих лошадей, хотя Шах-Назар отчаянно ругался с караванбаши (старшим погонщиком), грозя ему страшными карами от имени «ярым-падишаха». Это мало помогло.

Когда караван ушел, обнаружилось, что продавлен один наш бурдюк с водой и исчез хуржум с просом. Эти несчастья целиком лежали на моей совести, — пока Шах-Назар поил коней, я должен был следить за вещами и снаряжением, но отвлекся, делая записи и зарисовки дорожных наблюдений.

Хотя Шах-Назар, проклинавший погонщиков каравана, намекнул на дурное начало пути, все же я настоял, и мы углубились в пустыню, держа направление на Мертвые колодцы.

Вероятно, в связи с таким совпадением нескольких неблагоприятных обстоятельств, во имя благоразумия следовало воздержаться от пути к Мертвым колодцам. Однако у меня не было никакой уверенности в том, что когда-нибудь придется вторично попасть в эти места, а желание пройти заброшенной тропой настолько сильно овладело, что я сказал Шах-Назару: «Через три — самое большее, четыре — перехода мы обязательно выйдем на дорогу, где ходят караваны. Неужели мы не выдержим этих трех-четырёх дней? Будем экономны в пути. Вперед!...»

В пути я проверял направление по компасу, но это было излишним: по-прежнему Шах-Назар, направляемый своим удивительным чутьем, безошибочно вел нас к намеченной цели.

Пустыня оставалась такой же однообразной. Кое-где Шах-Назар указал на следы бывшей караванной тропы. Иногда на глинистых такырах, словно широкий желоб, тянулся углубившийся в землю след прошедших тут караванов да на ветке саксаула трепались полуистлевшие обрывки некогда яркой тряпки; или над песками подымался холмик с камнем или шестом над ним, с

которого свешивался пучок лохмотьев, — могила безвестного путника.

К вечеру на горизонте показалась неровная полоса лиловых скал. «Это кыр (камни), — объяснил Шах-Назар, — там, где кум (песок), можно всегда найти все, что нужно для жизни, — воду в колодце, саксаул для костра, траву для баранов, там можно подстрелить зайца или джейрана. А там, где кыр, нет жизни. Колодец не выкопаешь, деревьев нет, только ящерицы да змеи ползают между скалами. Берегись попасть туда и заночевать на кыре!»

При последних лучах заходящего солнца мы приблизились к угрюмому кыру. Слои серого известняка, наклонившись в одну сторону, выпирали из песков, образуя длинную зубчатую гряду. За ними на север простиралось каменистое плато. Кое-где из выветренных трещин торчали седые пучки полыни и курчавились сухие травки.

Песчаные волны, дойдя до кыра, образовали ровную площадку, словно разбившиеся в пену морские волны у скалистого берега. На этой площадке выделялись остатки нескольких сооружений, похожих на те, что обычно прикрывают устья колодцев. Они были сложены из известняковых плит и полузанесены песком. Несколько кривых стволов саксаула свешивались над развалинами.

Пока Шах-Назар расседлывал лошадей, я прошелся вдоль скалистой гряды в поисках топлива для костра и осмотрел развалины. Следов существования колодцев не было заметно. Быстро темнело, и я вернулся к нашему привалу, неся охапку сухих ветвей саксаула.

Шах-Назар не стал стреноживать коней, оставил их на приколе, в недоуздках. Когда кони выстоялись, мы дали им половинную порцию воды, по одному ведру, а себе сварили крепкий чай.

Шах-Назар был молчалив. Вероятно, воспоминания нахлынули на него. Но он как благочестивый и суеверный мусульманин не хотел в этом месте говорить о трагедии, происшедшей неподалеку от этих диких скал, в далекие годы его юности.

Незадолго перед рассветом кони внезапно стали рваться с приколов, захрапели, забили копытами. Очнувшись, мы оба вскочили, подбежали, огладили, успокоили коней. Костер давно погас. Над пустыней стояла нерушимая тишина, только раз из тьмы донеслись непонятные звуки, напоминавшие сипение и клохтанье. Услыхав эти шипы, кони вздрагивали и приседали, прижав уши.

Успокоив коней, мы вновь прилегли, но заснуть уже не могли. При первых признаках рассвета я снова пошел вдоль скалистой гряды. Светало быстро, и с первыми солнечными лучами скалы порозовели, прочертились лиловые тени, стало теплеть.

Песок у скал местами был плотнее, темными пятнами проступала подпочвенная влага и серебрилась бахрома соляных отложений. Иногда на влажном песке пестрели мелкие птичьи следы.

Перепрыгивая с одного скалистого выступа на другой, я поднялся на щербатую поверхность кыра, и незабываемая картина открылась передо мною.

На северо-запад тянулось ровное унылое пространство каменистого плато, изредка нарушаемое трещинами и острыми пиками скал. На юго-восток шли бесконечные волны оранжевых песков. Сверху ясно виднелось место нашего ночлега, остатки колодезных сооружений, кони и Шах-Назар, склонившийся у костра.

Пройдя дальше по гребню кыра и спустившись в другом месте, чем взошел, я заметил темную глубокую щель под нависшей скалой. Приблизившись, я услышал доносившееся из щели шипение, похожее на то, что испугало наших коней ночью. Отойдя за каменистый выступ, я бросил в щель обломок известняка. Оттуда опять раздалось шипение и клохтанье.

Когда я вновь кинул туда камень, из щели показалась голова огромного ящера-варана, покрытая роговой чешуей. Из раскрытой шипящей пасти с острыми зубами высовывался, извиваясь, гибкий раздвоенный язык, зло смотрели выпуклые зеленые глаза. Саженой длины, толстобрюхий буро-зеленый варан быстро выскочил из расщелины, угрожающе шипел, раздувая белую шею

пузырем, подпрыгивал на месте, хлопал по бокам длинным хвостом с зубчатым роговым гребнем...

Из рассказов старых закаспийцев я уже знал, что в недосыгаемых местах пустыни живут гигантские вараны, называемые туркменами эсдергха, пожирающие всяких, даже очковых, змей и очень за это почитаемые и охраняемые.

Но я впервые встретился столь неожиданно с «крокодилом пустыни» и в нерешительности замер, выжидая, что будет дальше.

Обычно вараны, как и все зверье, прячутся от людей. Но тут варан бросился на меня. Отступая, я поскользнулся, упал и покатился вниз. Удержавшись за каменный выступ и вскочив, я получил сильный удар хвостом варана по своим ногам и едва не упал снова. Эсдергха злобно и смело нападал, шипел и старался вцепиться зубами в мой сапог, а ударами хвоста сбить с ног.

Мое любопытство оборачивалось неожиданной опасностью. Винтовка осталась у костра, и пришлось достать из заднего кармана брюк маленький пистолет, с каким никогда не расставался в пути... «Но куда стрелять?.. Пуля моего пистолета не пробьет роговой панцирь этого дракона!..» — думал я, осторожно отступая и увертываясь от ударов хвоста ящера.

Вдруг эсдергха прыгнул на меня, попытавшись укусить в лицо, ударить передними лапами. Этим он себя погубил. Я сунул ствол пистолета в оскаленную пасть и выстрелил. Ящер упал, несколько раз ударил хвостом, судорожно дернулся и замер...

Я замерил ящера — длиной он был в четыре шага.

В расщелине скалы я нашел кучку грязновато-белых продолговатых яиц величиной с гусиные, лежавших в мягкой песчаной ямке, — причину злобного нападения эсдергхи, отважно защищавшего свое будущее потомство.

Когда Шах-Назар узнал о моей схватке с эсдергхой, то был заметно недоволен и решительно потребовал немедленно уехать отсюда. Однако перед тем я вернулся к эсдергхе.

Снять шкуру, если можно так назвать роговой панцирь варана, оказалось делом невероятно трудным, и я удовольствовался огромным гребнем с хвоста «крокодила пустыни», впоследствии долгое время украшавшим мой письменный стол, вызывая изумление. Много позже, в советское время, впечатление от этой поездки и встречи с эсдергхой помогли мне написать рассказ «В песках Каракума».

4. ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕХОДЫ

Вопреки опасениям Шах-Назара, мы благополучно выбрались на торную караванную дорогу к Хиве. В пути мы осмотрели и другие колодцы и места, где ясно проступала влага. Впоследствии, после моего рапорта начальнику области, к колодцам Аджи-кую были посланы специалисты по копанию колодцев. Они восстановили старые и выкопали новые колодцы. Вода в них оказалась не хуже, чем в других, а путь караванов сократился.

На дальнейшем пути к Хиве мы несколько раз попадали в туркменские кочевья. Шах-Назар своим удивительным чутьем умел их находить именно тогда, когда они были весьма кстати.

Гостеприимные хозяева встречали Шах-Назара как своего, а с ним и меня. У туркмен мы давали отдых коням и сами отогревались в кибитках, этих войлочных домах пустыни, замечательном изобретении кочевников, где прохладно днем и тепло ночью.

Дальше наш путь к Хиве проходил без особых приключений.

Однажды мы увидели мираж — большой караван, беззвучно шагавший на горизонте, все выраставший в размерах, подымавшийся в небо и расплывшийся в нем.

Но в другой раз, когда в стороне от обычной дороги мы увидели не призрачный, а живой караван, бредущий на север, вероятно из Персии в Хиву, то душа старого аламанщика не выдержала и Шах-Назар стал меня убеждать арестовать этот караван, наверняка везущий контрабанду для хана хивинского.

«Подумай, бояр, что эти тридцать верблюдов везут шелка, серебряные краны, териак, чай!..»

Однако я послал Шах-Назара «к шайтану», сказав, что ловить контрабандистов не моя обязанность, и добавил: «Ты думаешь, хан хивинский меня поблагодарит? Он посадит меня и тебя вместе со мною в яму и сгноит там, сообщив в Асхабад, что мы погибли в пустыне на пути к нему!»

Действительно, у меня не было никаких полномочий, чтобы задерживать караваны, не говоря уже об отсутствии средств для их задержания. Но Шах-Назар никак не мог понять, почему я отказался от такого богатства, потому что, по тогдашним законам, задержавший контрабанду получал 25 % ее стоимости.

Дальше в пути сильное впечатление произвели на меня две картины.

Первой из них был момент перехода через Узбой. Огромная впадина, старое русло Амударьи, некогда впадавшей в Каспийское море, уходила далеко на запад и вся была покрыта блестящими на солнце осадками — кристаллами соли.

Когда-то здесь текли могучие волны, шумела жизнь, цвели сады и паслись стада, а теперь, у этих ставших бесплодными берегов, туркмены лечили от чесотки, обкладывая лежавших верблюдов солью.

Затем незабываемым был момент, когда после долгого тяжелого пути по однообразной пустыне, где мы непрерывно то поднимались на песчаные склоны, то спускались с них, взобравшись на высокий бархан, мы вдруг увидели перед собой роскошный зеленый оазис Хивы.

Квадраты полей, где работали пахари, высокие тополя и платаны, а вдали за ними — стройные минареты мечетей, выложенные сверкавшими издали голубыми изразцами...

Расстояние от Ашхабада до Хивы составляет около пятисот километров. Теперь этот путь каждый может спокойно и безопасно проделать на автомобиле-

вездеходе за одни сутки, а самолетом пролететь за один час.

Я же с моим спутником, опытным и умелым проводником, ехал верхом в одну сторону, правда с остановками для осмотра колодцев, больше двух недель. Причем это путешествие тогда считалось выдающимся и опасным предприятием, требовавшим подготовки, выносливости и мужества.

После этой поездки (даже в Военном собрании) никто не мог говорить обо мне как о «зеленом шпаке»...

IV. В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

1. АУДИЕНЦИЯ У ЕГО СВЕТЛОСТИ ХАНА

После того как русские войска в 1873 году вступили в Хиву, они убрали головы казненных, торчавшие на кольях перед ханским дворцом, освободили рабов и положили конец работорговле, прекратили деятельность множества разбойничьих шаек, нападавших на мирных земледельцев и грабивших караваны, и для населения Хивинского ханства наступила пора мирной жизни.

Номинально Хива осталась под властью своих феодалов, но в ней появились представители русской администрации, военные, купечество, а кое-где — русские переселенцы. Сыновья богатых и знатных хивинцев направлялись на учение в Петербург, хивинцы стали служить в русской армии.

Внешний облик Хивы мало чем изменился.

Ко времени моего приезда это был маленький грязный и пыльный город с лабиринтом узких кривых улочек, состоявших из одних стен, не имевших окон и выходивших на пустыри, базары, кладбища, окруженных осыпавшимися рвами и разваливающимися глинобитными стенами с башнями и воротами.

В городе насчитывалось примерно десять тысяч жителей, десяток ханских дворцов, полсотни мечетей и медресе,

несколько караван-сараев и множество базарных лавок, мастерских ремесленников, торговых складов.

Но напрасно было искать здесь школу или больницу, книжный магазин, театр или клуб. Хивинское ханство продолжало жить по своим феодальным законам и обычаям, лишь отчасти смягченным русским влиянием.

Высшая власть продолжала оставаться в руках хана — верховного и непогрешимого судьи для своих подданных. Он решал судьбу кошелька и живота своих беков, наибов и хакимов, числом свыше двух десятков, управлявших, в свою очередь, через старейшин родов — аксакалов — простым народом.

Судьи, бии, казии и прочие представители феодалов отправляли суд быстро и несложно: все тяжбы решались по Чингиз-хановой «Ясе»

[215]

, хотя великий завоеватель уже шесть столетий покоился в могиле.

До прихода русских наказания оставались вполне в Чингиз-хановом вкусе: от битья палками, отсечения уха, пальца, ладони, руки и до отрубания головы. Теперь они соответствовали установленным в России.

В Хиве я был принят с почетом, остановился в небольшом домике с традиционным внутренним двориком, посредине его поблескивал прохладный хаус (водоем), отведенном мне ханом для отдыха и пышно именовавшемся дворцовым покоем.

Дважды был я на приеме у Сеид Мухаммед Рахим-хана и у его сына-наследника Эсфендиар-Тюря, а под конец получил в подарок фотографию хана в серебряной рамке и серебряный кумган (кувшин).

Но самой ценной для меня вещью, вывезенной из Хивы, было легкое туркменское седло с высокой лукой, державшееся на двух дощечках, ложившихся на конскую спину по обеим сторонам хребта. Наши казачьи седла мастерились примерно по такому же принципу. Седла

такой конструкции применяются для дальней дороги, так как ими нельзя набить спину коню.

Я по неопытности отправился в далекий путь в английском (скаковом) седле, к которому привык, и вскоре натер бедному Ит-Алмазу большую язву на спине.

Шах-Назар одними ему известными средствами сумел вылечить Ит-Алмаза в пути, так что в Асхабад я вернулся на поправившемся коне, хотя и сильно истощенном. В дальнейшем я путешествовал только в хивинском седле.

Виденный мною хан был сыном хана, капитулировавшего перед войсками генерала Кауфмана, и предпоследним хивинским ханом. Он жил во дворце, окруженном высокой стеной с башнями и воротами в них, состоящем из скопления нескольких десятков одноэтажных глинобитных домиков, соединенных лабиринтами переходов, с множеством дверей, возле них стояли мрачные воины в восточных одеждах, со старинными винтовками и саблями, словно сошедшие с известной картины В. Верещагина «У дверей Тамерлана».

Хан сидел на стопке квадратных верблюжьих кож, выделанных до мягкости замши, лежавшей на небольшом кубическом возвышении, напоминавшем стол, слепленный из глины.

Ханский переводчик Корнилов, русский старожил, в форме полицейского пристава, сидел возле хана на пятках, прижавшись боком к этому «трону». Помня наставления Суботича, я сказал, что проехал через пески и нахожусь на аудиенции у хана по своей личной инициативе, как журналист.

Хан предложил мне сесть рядом с ним, но это было совершенно невозможно, так как на кубике свободного места не было, и вообще отсутствовала какая-либо мебель в зале.

Поэтому я сидел так же, как и переводчик, на собственных пятках, прижавшись к «трону». В беседе я все выжидал удобного случая затронуть тему о

контрабанде, чтобы выполнить поручение Суботича, хотя с той поры прошло немало времени, но никак не мог этого сделать, ибо не полагалось задавать вопросы его светлости хану.

Хан поинтересовался, каков собою Уссаковский, а о Суботиче сказал по-русски: «Знаю, знаю, хороший генерал...» Далее хан говорил только по-хивински (или тюркски), а Корнилов переводил, хотя по всему было видно, что хан знает русский язык.

Хана заинтересовал мой рыжий Ит-Алмаз, и он дважды его осмотрел, сказав, что хотел бы иметь такого коня, но «...сам пойми, у жеребца подрезаны хвост и грива, а у нас это очень стыдно — ехать на жеребце с подрезанным хвостом. Скажут, что моя жена меня бьет...».

Когда хан заинтересовался тем, как я перенес поездку через пустыню, я сообщил ему о встрече с караваном, намекнув на то, что это, возможно, были контрабандисты, причем в Асхабаде есть сведения об участвовавшей контрабанде.

При таком известии хан оживился, подробнейшим образом расспросил о встреченном караване и одобрил мое поведение, сказав, что это, конечно, не мог быть караван с контрабандой, ибо он не допускает в своих владениях ничего нарушающего законы Белого царя.

Хан был явно доволен известием, а затем опять принял безразличный величественный вид и милостиво спросил, не хочу ли я получить чего-либо от него...

Я просил хана только об одной милости: разрешить мне запросто побродить по Хиве, поговорить с ее купцами и простыми людьми, так как я люблю восточные страны и предполагаю еще много путешествовать по Азии.

Хан ответил, что он мне это охотно разрешает. На том аудиенция закончилась.

Позднее Корнилов объяснил мне, что стопка выделанных верблюжьих кож это настоящий трон потомка Чингизхана. Монгольский завоеватель не возил с собою трона, хотя у себя на родине имел золотой, считая, что истинный воин должен иметь сиденьем только потник коня.

Поэтому и хан хивинский выполняет завет Чингиз-хана — «всегда готов выступить в поход для защиты родины и мусульманской веры...».

После приема у хана я был еще у его наследника — Эсфендиар-Тюря, ставшего последним ханом хивинским и через двадцать лет зарезанного на стопке верблюжьих кож претендентом на хивинский трон Джунаид-ханом
[216]

Эсфендиар, бледный молодой человек в шелковом восточном халате, свободно говорил по-русски, рассказывал о своем посещении Петербурга, о жизни в нем. Он интересовался отношениями России и Афганистана, расспрашивал, «правда ли, что на афганской границе у нас постоянные стычки с афганцами, которым помогают англичане?...».

Эсфендиар учился в России и жаловался на то, что после Петербурга ему не нравятся местные хивинские жилища, и говорил, что «намерен заняться просвещением», построить себе «русский дом с печами и окнами».

Впоследствии во дворе ханского дворца действительно был построен «русский дом», куда переселился наследник, ставши ханом, но дальше этого деяния любовь к просвещению Эсфендиара не пошла.

2. ХАНСКАЯ ТЮРЬМА

Получив разрешение хана осмотреть город, вдвоем с Шах-Назаром мы много бродили по его пыльным улицам, заглядывая во все интересовавшие меня места.

Шах-Назар даже показал возле главного базара, в рядах медников и оружейников, темную, закоптелую кузню, где юношей он был рабом. Тогда такие же, как и он, рабы трудились на задворках и в других дымных мастерских, месили глину, пилили доски или тесали камни.

Теперь здесь рабов не было, но, как мог понять, в обиходе, самой работе и мастерских ничего не изменилось.

В полутьме светились огни кузнечного горна и вздыхали его мехи, поблескивала сырая глина, а над ними склонились голые, облитые потом фигуры, визжала пила, гудели удары молота, булькала вода...

На пороге мастерской стоял ее хозяин в чистом халате, разговорчивый, ласково приглашал заглянуть к нему, готовый за ваши деньги изготовить руками своих мастеров все, что только вам необходимо, и задешево!..

Бродя по городу, мы увидели поразительное зрелище — проезд хана через свою столицу. Эта картина напомнила мне описания поездок Ивана Грозного по старой Москве. Впереди процессии ехали вооруженные всадники с копьями и саблями наголо, затем конюхи вели под уздцы множество коней хана поразительной красоты, всех мастей, накрытых дорогими коврами. Первыми шли два огромных битюга. Хан купил их в Оренбурге у архиерея, восхитившись мощностью жеребцов.

Хан ехал один на молочно-белом черноглазом жеребце. Позади следовала сотня лихих джигитов с винтовками и копьями.

На всем пути следования процессии толпы жителей города стояли, согнувшись в поясе и скрестив руки на груди. Никто не смел поднять лицо и посмотреть на хана...

После этого зрелища я попросил Шах-Назара провести меня к ханской тюрьме. Мы подошли к невысокой пузатой башне. На коврике у низенькой железной двери сидел на корточках тюремщик со связкой больших ключей. Возле него стояла деревянная миска для подаяний заключенным.

Шах-Назар властным голосом приказал тюремщику открыть дверь башни «по распоряжению его светлости хана для осмотра тюрьмы важным русским бояром!..»

Тюремщик поспешно отворил дверь, завизжавшую, повернувшись на ржавых петлях, и мы прошли в

небольшое помещение, полутемное и высокое, куда свет проникал сверху, сквозь узкое окно.

У стен, на каменном сиденье, выгнутом подковой, сидели угрюмые, молчащие заключенные, скованные одной цепью. Конец ее был прикреплен к стене. В центре подковы-сиденья, в каменном полу, находилось отверстие клоака — для отправления естественных нужд узников. У стены печь, сложенная наподобие камина, уходила вверх, ее труба высывалась снаружи над башней.

Заключенные смотрели равнодушно, мертвым взглядом. Лишь один хивинец, подвижный и нервный, увидав нас, быстро заговорил, а затем стал кричать, и Шах-Назар перевел мне, что тот «прикован уже тринадцать лет, невиновен, не знает, за что он в тюрьме, и только великий русский бояр может его освободить».

Услыхав крик хивинца, другие узники вскочили и, гремя цепью, закричали, что они «тоже ни в чем не виновны!..». На шум и крики прибежали два дюжих помощника тюремщика с длинными бичами.

Обеспокоенный тюремщик стал нас энергично выпроваживать из тюрьмы. Позади раздавались вопли, звон цепей и щелканье бичей, ругательства тюремщиков...

Позднее, в подробном рапорте Уссаковскому о своей поездке, я упомянул и об увиденном и услышанном в ханской тюрьме. На это через начальника канцелярии, где я числился, мне было выражено неудовольствие генерала и сделано внушение с предупреждением, чтобы я «впредь не превышал своих полномочий и не вступал в вопросы, его (меня) не касающиеся...».

Вернувшись после осмотра Хивы, мы увидели, что в красивом домике, где остановились, приготовлено обильное восточное угощение. Приближенный хана с радостной улыбкой сообщил, что по приказанию его светлости хана устраивается праздничный вечер, придут музыканты и бачи (танцоры), чтобы «увеселять мою душу».

Но я вспомнил рассказы Маргания о случаях, когда излишне любопытные путешественники после ласкового приема и обильного угощения у хана таинственно исчезали или, внезапно заболев, переселялись в «сады Аллаха»...

Так как после посещения тюрьмы сердце у меня совсем не лежало к увеселениям и, кроме того, Шах-Назар сказал мне, что, согласно обычаю, каждому баче и музыканту придется положить в рот «золотой», я начал кашлять и уверять, что очень нездоров и потому прошу, чтобы празднество не устраивалось. Приближенный хана удалился весьма недовольный, намекнув, что хан будет обижен и даже разгневан...

Хотя мои деньги и запасы были на исходе, а еще предстоял длинный обратный путь, нам надо было уезжать туда, где мы могли не опасаться дальнейших проявлений «милостивого внимания» его светлости хана.

Ночью Шах-Назар раздобыл у знакомого содержателя караван-сарая для меня тощего, длинноногого, чалого туркменского коня, оставив в залог Ит-Алмаза, чтобы затянуло рану на его спине, и рассвет застал нас обоих уже за пределами толстых стен Хивы, меня на чалом коне — на пути в Петро-Александровск

[217]

, небольшой городок километрах в пятидесяти от Хивы, на правом берегу Амударьи.

Там была лодочная переправа. До городка доходила пароходная линия из Чарджуя (Чарджоу), туда доставляли грузы на хивинских лодках-каиках под парусами.

3. УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОРУЖИЕ

Часть дороги к Петро-Александровску шла берегом Амударьи.

Остановившись, примерно на полпути, на отдых, мы напоили коней водой из реки, спустившись с холмов, продираясь сквозь густые заросли — тугаи, скрывавшие

прибрежные отмели под буйно разросшимися кустами тамариска, облепихи, ивняком, высоким камышом.

Этот путь был противоположностью предыдущему, по мертвым раскаленным барханам Каракумов. Здесь всюду была видна или слышна жизнь.

Из зарослей выпархивали фазаны, со свистом резали воздух косяки диких уток и гусей. Мы пересекали тропки, по каким проходили на водопой джейраны, шакалы, кабаны. На холмах встречались остатки стен укреплений и мазаров. Из чащобы камыша или кустов кендыря, усыпанных розовыми цветами, иногда доносилось похрюкиванье, чавканье илистой почвы, шум возни зверья.

По рассказам хивинцев, даже тигры тогда встречались в этих зарослях. Пару раз мы слышали, как под напором чьей-то могучей туши с треском ломались сухие стебли камыша; хозяева тугаев — кабаны — беспрепятственно разгуливали в этих местах. Хивинцы-мусульмане обходили их стороной, следуя запрету для магометан есть «нечистое» свиное мясо.

От такого множества дичи во мне пробудилась душа охотника, и это едва не стоило жизни.

Я решил заночевать на берегу реки, в таком красивом и привольном месте, а заодно подкараулить джейрана и обновить купленную перед отъездом в магазине Аванесова полуавтоматическую американскую винтовку многозарядный «винчестер».

Снаряжаясь в поход, я зашел в магазин Аванесова, бывший не только скобяным, но по совместительству оружейным. В магазине оказался большой выбор всяких ружей и винтовок — одноствольных и двухстволок. Но особенно Аванесов рекомендовал новенький винчестер, полуавтоматически перезаряжавшийся переводом рычага под шейкой ложа.

Аванесов всячески расхваливал механизм, подающий и выбрасывающий патроны. Он заряжал винтовку и быстро двигал рычагом, так что вскоре пол магазина оказался усыпанным гильзами, стремительно вылетающими при открывании затвора.

«Обладая таким новейшим, усовершенствованным оружием, — убеждал меня Аванесов, — вы легко сможете один перестрелять шесть нападающих или поразить несколько самых резвых коз!»

Шах-Назар, взявший в дорогу старинную пистонную винтовку с очень длинным тонким стволом и узким ложем, изукрашенным серебряной насечкой, заряжавшуюся со стороны дула маленькой круглой пулькой, с сомнением осмотрел рычажный механизм винчестера, отрицательно зацокал и заявил, что не сменяет свою старую винтовку на это «усовершенствованное оружие».

Перед самым отправлением в дорогу я съездил на Ит-Алмазе в сторону Кеши и изрешетил ствол старого платана. Винчестер работал безотказно, и я с улыбкой думал о сомнениях Шах-Назара.

Я запомнил тропку неподалеку от ночлега, углубившуюся в мягкую лессовую землю со следами диких коз и кабанов. Шах-Назар остался стеречь коней, а я незадолго до рассвета направился на охоту. Осторожно раздвигая камыши, я вышел к берегу тихой реки и притаился возле группы тополей, росших несколько выше тропинки, ведущей к водопою.

Я устроился на песчаном бугорке в нескольких метрах от тополей и притаился в ожидании. Отсюда была хорошо видна густая щетина камышей, черневшая на фоне поблескивавшей воды.

Долго я ждал в полной тишине и неподвижности, никто не показывался на тропинке. Когда ночь стала сменяться предрассветными сумерками, над рекой пронесся словно глубокий вздох ветра, гладь воды зарыбила, небо прочертили первые птицы.

Край небосвода порозовел, желтой чертой проступил противоположный, освещенный берег реки, и быстро, как это бывает только в пустыне, наступило утро.

В сумерках было довольно холодно, но с первыми лучами солнца стало припекать. Я уже огорчился, что моя охота сорвалась, и собирался возвращаться к ночлегу, когда услышал шорох позади себя...

Оглянувшись, я увидел, как, пригибая редкие камыши, в мою сторону движется несколько кабаних-свинок. Мотая головами, они рыскали по сторонам, за ними мелко семенили копытцами черные юркие кабанята. Глухо похрюкивая, стадо быстро приближалось.

Великолепное жаркое само шло ко мне в руки, хотя я и не мог рассчитывать при его изготовлении на компанию Шах-Назара.

Я прицелился под лопатку передней свинки, грохот выстрела разбудил тихую реку, стаи испуганных птиц взвились над камышами. Свинка ткнулась рылом в песок, завизжала, забила ногами. Стадо метнулось в сторону.

Но не успел я встать и шагнуть, как увидел, что, ломая камыши, взрывая песок, на меня стремительно катится огромная черно-бурая туша. «Секач!..» — понял я и сделал движение рычагом винчестера, чтобы перезарядить винтовку... второе... третье... Затвор «усовершенствованного оружия» заело после моего первого выстрела — гильза выскочила, но новый патрон застрял безнадежно в магазине винтовки...

В одно мгновение нужно было решить, как поступить, чтобы спасти свою жизнь. Вот когда пригодились мне уроки веселого Жаколино Роше!..

[218]

Я побежал навстречу секачу, бросил ему в рыло ставший бесполезным винчестер и, перескочив через щетинистую, вонявшую тиной черную спину, подбежал к одинокому тополю.

К счастью, я сумел с разбегу ухватиться за нижнюю ветвь, подпрыгнул, и в то мгновение, когда дерево задрожало от свирепых ударов клыков кабана, я уже сидел верхом на стволе тополя, обнимая его с пылом, какому мог бы позавидовать самый страстный любовник!..

Секач кружил вокруг тополя, рыл песок, от ствола отлетали кора и щепки, хрипкое рычанье несло из

пасти с огромными клыками. Кабан становился на задние ноги, пытаясь добраться до меня, и его маленькие красные глазки сверкали ужасающей ненавистью. Иногда он подбегал к винчестеру, топтал его, схватив в пасть, мотал винтовкой в воздухе, и было слышно, как трещит расщепляемый приклад.

Солнце поднялось уже довольно высоко, но мой страж и не собирался снимать осаду. Он медленно ходил вокруг тополя, иногда обнюхивал и толкал рылом убитую свинку, но продолжал зорко следить за мною и прыжками возвращался к дереву при каждом моем движении, затем опять топтал и грыз винчестер...

Неизвестно, чем бы кончилось это приключение, если на выручку не пришел бы Шах-Назар. Он не стал стрелять в секача, а с дикими воплями и свистом поджег тугай. В мою сторону потянуло дымком, затем по песку заструилось, перебегая от одного сухого стебля к другому, быстрое пламя.

Только тогда кабан остановился, стал порывисто нюхать воздух и медленно ушел в камыши, к реке. Еще некоторое время слышалось чавканье копыт, ступавших по илу, а путь секача можно было проследить по качавшимся черным стрелкам камышей. Потом все затихло...

С трудом можно было узнать в жалких остатках винчестера щегольское «усовершенствованное оружие»! Деревянные части были расщеплены, магазин изуродован, ствол погнут. Шах-Назар, вежливо улыбаясь и глядя в сторону, посетовал вместе со мной над потерей. Опираясь на свое старое ружье, он, должно быть, внутренне торжествовал.

В дальнейшем я всегда брал в путешествия по пескам только оружие самой простой конструкции, однозарядную винтовку Бердана, не боявшуюся песчинок, врага ружей-автоматов в пустыне.

Наше дальнейшее путешествие прошло благополучно.

После осмотра Петро-Александровска и переправы через Амударью мы вернулись в Хиву. Здесь я пересел на отдохнувшего и подлечившегося Ит-Алмаза, и, более не

представая пред очи «его светлости хана», мы направились в обратный путь.

Продвигаясь на юг, мы вторично пересекли пустыню Каракум, но уже другим путем, западнее, выехав из песков около Геок-Тепе.

В Асхабаде меня ждало тяжкое известие.

1 апреля 1903 года в петербургской больнице скончался мой отец, «гомерид» Григорий Андреевич [219]

. Получив внеочередной отпуск, я выехал в Петербург, а затем пробыл некоторое время у моей матери Варвары Помпеевны в Ревеле.

V. ЖИЗНЬ УШЛА ОТСЮДА

1. АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Ко времени нашего возвращения в Асхабаде произошли две «сенсации». Приехала семья генерала Уссаковского, его маленькая жена, урожденная Неплюева, дочь основателя Оренбургского кадетского корпуса, и с ней три дочери. Судя по газетным заметкам, две старшие дочери отличались как наездницы на «конкур-иппик» в Петербурге.

Старшая, Елена, была роковой для сердец многих молодых людей, любила одиноко разъезжать на кобылице английской породы по равнине близ Асхабада и с отчаянной смелостью брала опасные барьеры.

Вторая, «Звездочка», была замужем за французским офицером, жила во Франции и приезжала к родителям погостить. Младшая, Мума, славилась как пианистка и, кроме того, везде появлялась с фотографическим аппаратом.

Прибыл также новый начальник штаба Уссаковского генерал Неелов со своей женой-спириткой, немедленно занявшейся устройством спиритических сеансов и

заразившей этим модным тогда увлечением все асхабадское «общество».

Другой «сенсацией», более серьезного свойства, был приезд в мае 1903 года в Асхабад американской геологоархеологической экспедиции научного института миллиардера-филантропа Карнеги.

Газета «Асхабад» писала тогда, что экспедиция прибыла «...по рекомендации министерства земледелия и государственных имуществ для научных исследований Копетдага, Гаудана, Хайдарабада, Карши и Термеза... Главный штаб по ходатайству посла США просил о содействии экспедиции, но с воспрещением раскопок и вывоза археологических ценностей...».

Возглавлял экспедицию Рафаил Помпелли, не ученый, а предприимчивый делец, приехавший со взрослым сыном. Возможно, поиски нефти или иных полезных ископаемых были действительной причиной прибытия этой экспедиции.

Генерал Уссаковский принял американцев весьма радушно, обещал им всяческое содействие, а мне, как знающему английский язык, поручил состоять при экспедиции.

Помпелли рассказывал, что его «снова потянуло в Россию», так как в юности он уже был в Сибири с какой-то научной экспедицией, оставившей у него «приятные воспоминания».

Научным руководителем экспедиции и правой рукой Помпелли был профессор Дэвис, известный американский ученый, автор капитального руководства по геологии, принятого тогда для преподавания во всех университетах Соединенных Штатов. Дэвис поднимался на горы Копетдага и впоследствии представил Уссаковскому доклад о своих наблюдениях с картой горных пород, разрезами гор, указанием геологического строения Копетдага.

Ассистентом Дэвиса был молодой геолог Эльсворс Хентингтон

[220]

, позже прославившийся поездками в Тибет, на развалины Пальмиры, в Малую Азию, где ему посчастливилось открыть несколько разрушенных и засыпанных песками городов, и многими другими путешествиями и научными исследованиями.

Он рассказывал, что его старший брат служил в Константинополе; Эльсворс одно время жил у брата и получил первоначальное образование в армянском монастыре, расположенном около озера Ван, в Турции, где было американское училище, подготавливавшее миссионеров. Брат Эльсворса был тогда директором американского «Роберт-колледжа», где воспитывались дети из наиболее состоятельных семейств Турции.

Окончив училище, Эльсворс отказался от миссионерской деятельности, вернулся в Америку, где бедствовал, служил в какой-то фирме, занимавшейся постройкой железных дорог, и в то же время готовился к поступлению в университет. Он сумел поступить в него и затем, пройдя с отличием курс наук, выдвинулся своими способностями и интересными работами по геологии.

Однако школа в Ване дала Эльсворсу хорошее знание армянского языка, что не раз выручало его в будущих путешествиях, где он повсюду встречал армян, рассеянных по свету, помогавших ему в трудные минуты.

После первой же встречи с Еленой Уссаковской Эльсворс в нее безумно влюбился и не раз говорил мне, что нашел в Елене идеал своей будущей жены и был бы счастлив на ней жениться, но не решается в том открыться девушке. К тому же он «пока еще беден».

В экспедиции Помпелли был еще один выдающийся профессор, итальянский археолог, указавший на холм высотой десять — пятнадцать метров, на котором стоит полуразвалившаяся мечеть в Аннау

[221]

, как на место, где можно найти интереснейшие археологические древности.

Экспедиция Помпелли вскоре уехала, но в начале 1904 года вернулась и занялась раскопками возле Аннау.

«Закаспийское обозрение» сообщало, что разрешено «...производство в Закаспийской области раскопок североамериканцу Помпелли в течение 1904 года... Для наблюдения прикомандирован профессор В. В. Бартольд и его помощники, они составят списки найденного и обеспечат охрану... Все предметы останутся в России. Помпелли разрешено описание, зарисовки и издание труда о раскопках в Аннау».

Была проведена траншея через холм и несколько курганов. Со всей научной тщательностью археологи углубились в землю, и были найдены несколько слоев поселений разных культурных эпох и могила древнейшего периода человечества.

«Американским геологом Р. Помпелли принесена в дар областному музею богатая коллекция предметов домашней утвари и древних орудий, собранных в развалинах крепости Аннау», — писала газета «Асхабад».

Эти раскопки Помпелли были новым вкладом в изучение истории Средней Азии. Институт Карнеги напечатал в роскошном издании отчет об экспедиции, а мне тогда было досадно, что эти открытия сделали американцы (с участием В. В. Бартольда, впоследствии академика), а не мы, русские, самостоятельно.

2. «НА СВОЙ СТРАХ И РИСК»

С Эльсворсом Хентингтоном мы были почти одних лет, получили одинаковое по степени и близкое по специальности образование, оба были холостяки, только начинали свою жизненную карьеру, оба мечтали о путешествиях и быстро сблизились. Мы решили вместе пересечь великую соляную пустыню в центре Ирана и проехать по Персии и Афганистану, вдоль персидско-афганской границы — к Индии.

С первых дней своего прибытия в Среднюю Азию и с началом поездок по ней я стал готовиться к задуманному далекому путешествию — через Персию и Афганистан — к Индии. Еще в Лондоне, затем в Петербурге и Асхабаде я изучал страны, через какие намечал проехать. По собранным материалам я написал и опубликовал тогда несколько статей об Афганистане, напечатанных в газетах «Асхабад» и петербургском «Новом времени».

Перед отъездом генерала Суботича на Дальний Восток, в ноябре 1902 года, я подал ему рапорт с просьбой о командировании в Персию и Афганистан и обоснованием целей своего замысла, где писал, что «главной моей целью изучения остается Афганистан и знакомство с народами, его населяющими, в политическом, этнографическом и других отношениях»

[222]

«Основательно познакомившись с литературой русской и иностранной об Афганистане, изучив его досконально теоретически, я бы желал возможно ближе ознакомиться с этим государством практически, как для того, чтобы представить научные труды относительно современного состояния Афганистана, так и равно для того, чтобы оказаться полезным правительству в случае дипломатических, торговых или иных сношений с Афганистаном...

Из многочисленных расспросов лиц, имевших сношения с афганцами, а также из расспросов самих афганцев, постоянно прибывающих в область, я убедился, что обаяние русского имени настолько велико, что, если только проехать пограничную черту, где не пропускаются русские подданные, можно проехать русскому человеку через весь Афганистан, не встретив никакого противодействия.

Поэтому план моей поездки состоит в том, чтобы избежать встречи с афганскими отрядами в пограничной черте, далее вполне открыто в европейской одежде проехать до Кабула. Если же афганские власти меня и арестуют, то все-таки часть моего плана будет выполнена, так как мне удастся побывать внутри этого замкнутого государства и увидеть его современную жизнь.

Начать поездку я бы полагал либо из Персии, либо из юго-восточной части Бухары и, делая возможно большие переходы, проникнуть как можно дальше в глубь страны, надеясь на дальнейшее счастье и удачу...»

Генерал Суботич представил в копии мой рапорт Туркестанскому генерал-губернатору Иванову со своим ходатайством об удовлетворении просьбы.

В ответном письме из Ташкента генерал Иванов писал: «Мне очень симпатично сообщенное вашим превосходительством намерение губернского секретаря Янчевецкого отправиться в Афганистан для ознакомления с этой страной, и желал бы, чтобы г. Янчевецкий осуществил это намерение на свой страх и риск, но... я затрудняюсь дать разрешение ему отправиться туда без предварительного согласия г. военного министра, вследствие чего ходатайство этого чиновника я вместе с сим представил его высокопревосходительству...»

В декабре 1902 года в Асхабад поступила телеграмма из Петербурга от военного министра: «На поездку на свой страх Янчевецкого согласен...»

Таким образом, еще в конце 1902 года вопрос о моей поездке к Индии решился положительно и можно было приступать к реализации замысла. Однако без малого лишь через год сложившиеся обстоятельства позволили воплотить мечту в жизнь.

Своими планами я делился с Хентингтоном, и осенью 1903 года мы вместе приняли сложное решение: совершить научное путешествие в Персию и оттуда (это

облегчало бы нашу задачу) попытаться вблизи Сеистана проникнуть в Афганистан и проехать к Индии...

Поэтому в августе 1903 года я подал одновременно два рапорта, один о поездке в Персию, другой — конфиденциальный — о поездке в Афганистан и в Индию.

Вследствие отсутствия дипломатических отношений России с Афганистаном, с целью избежать излишней огласки нашей экспедиции и ее маршрута, в приказе и документах о моей командировке указывалась только Персия. Остальное, то есть Афганистан и Индия, относилось на мой «страх и риск»...

Было известно, что я сотрудничаю в петербургских газетах, и Уссаковский отпустил меня в эту поездку как журналиста — «без расходов от казны, с сохранением содержания»; поэтому для меня снаряжение в экспедицию было очень затруднительно — денег у меня было в обрез.

Я получил триста рублей командировочных и свое содержание за три месяца вперед — триста рублей (позже командировку продлили еще на месяц) и должен был рассчитывать только на эту сумму, а все расходы с Хентингтоном, получавшим крупные денежные переводы из-за океана, мы делили пополам.

3. НАШ КАРАВАН

В нашей экспедиции было шесть человек. Три верблюда несли бурдюки с водой, вьюки с провиантом и походным снаряжением, складную палатку и войлоки, на которых мы спали. У Эльсворса еще были с собою привезенные из Америки складные кровать, стул, стол и ванна, какими он пользовался при каждом удобном случае, бывавшем весьма редко, и это сердило моего американца.

Меня сопровождали два джигита, прикомандированные Маргания: молодой веселый туркмен Хива-Клыч и мрачный старый беглый афганец Мердан.

Живший раньше в Герате, Мердан застал свою жену с любовником и зарезал обоих. Поэтому постоянные думы о волосяной петле, ожидавшей его в Афганистане, делали Мердана молчаливым и хмурым спутником. А

Хива-Клыч, наоборот, сбежал от четырех надоевших ему жен и был постоянно весел.

Хентингтон нанял себе в помощники туркмена-переводчика Курбана и русского молоканина [223]

Михаила, хорошо знавшего персидский и туркменский языки, отличного охотника, постоянно снабжавшего нас в пути подстреленной дичью и учившего Эльсворса русскому языку.

Михаил сам напросился в нашу экспедицию, сказав мне по секрету, что он очень страдает в своем молоканском селении из-за того, что его жена объявлена «богородицей», и потому какой-то молоканский проповедник, считавшийся у них «святым апостолом», жалуется ее своим вниманием...

Экспедицию сопровождал еще пес Трезорка, долгое время живший у меня маленький белый фокстерьер, бежавший впереди, а иногда отдыхавший в пути, лежа между горбами вьючного верблюда, и усердно охранявший спящий караван по ночам, будя путников отчаянным лаем при чьем-либо приближении.

Хентингтон, вздыхавший в пути о «прекрасной Елене», всегда очень тщательно вел дневник в специальных тетрадах с копировальной бумагой. Копии записей он при первой возможности посылал в Бостон, своему отцу, так что потеря дневника в пути не была непоправимым несчастьем. Вернувшись в Америку, он опубликовал подробный отчет о нашем путешествии со множеством фотографий и чертежей в книге «Исследование Туркестана» [224]

Много лет спустя, в советскую эпоху, работая в московской Ленинской библиотеке, я встретил эту книгу, а также обнаружил другую работу Хентингтона —

«Пульс Азии»; в приложении к ней были указаны все его научные работы, в том числе и «Исследование Туркестана» («Соленые озера Персии»), и сообщалось, что Эльсворс Хентингтон — профессор естественной истории Гарвардского университета. Там же были приведены имена его жены (не Елены!) и семи детей.

Отец Хентингтона, известный бостонский пастор, воспитал сына своим верным последователем, и Эльсворс был высоконравственен и очень религиозен, никогда не расставался с Библией, напечатанной мелким шрифтом в одном томе карманного формата, и каждый день ее перечитывал.

Насколько я успел разгадать его характер, Хентингтон относился к русским, за редким исключением, презрительно, тщательно скрывая такое отношение под напускной вежливостью. По его убеждению, все русские были развратны, нечестны, безбожны, и потому дружить с ними не следовало.

Вообще мы, русские, были для него нацией «второго сорта», а «первоклассными людьми» являлись сперва американцы, а затем англичане. Достоинства русских Хентингтон предпочитал не замечать, говоря, что «русские — азиаты, обладающие всеми недостатками, характерными для азиатских народов».

Меня Эльсворс считал недостаточно и религиозным, и серьезным.

Его отношение к «азиатам» особенно проявлялось, когда он сердился. Тогда выдержка изменяла Хентингтону, и он начинал кричать, что «в Америке все лучше!», а всех «восточных» людей называл «хэмбог» (обманщик).

Для моих отношений с Хентингтоном характерен такой эпизод. Однажды, в середине пути, еще в Сеистане, когда выяснилось, что мои средства кончаются, а новых денежных поступлений в скором времени не будет, я объяснил это печальное обстоятельство Хентингтону и, так как мы продолжали делить все расходы пополам, спросил, как будем действовать дальше.

Эльсворс ответил: «Я могу снабдить вас небольшой суммой, достаточной для возвращения в Асхабад. Но дальше по Персии я поеду один...»

Мне кажется, что при путешествии двух русских друзей между ними существовала бы более тесная взаимная выручка и поддержка и совместное путешествие не смогло бы прерваться по такой причине.

В этом путешествии мы оба относились друг к другу по-товарищески, но в дальнейшем наши пути разошлись. Десять лет позже поездки по Персии, работая корреспондентом СПТА

[225]

в Констатинополе, я написал Хентингтону в Америку и получил вежливо-холодный ответ. На том закончились наши отношения.

4. «АЛЛАХ НАС НЕ ПОКИНУЛ!..»

Караван нашей экспедиции выступил в путь из Серахса в середине ноября 1903 года, намереваясь использовать для путешествия тот осенне-зимний период года, когда после испепеляющей жары летних месяцев в Средней Азии наступает прохладная пора, а ночами подмораживает. Это время наиболее пригодно для людей и животных при дальних экспедициях по пескам и пустынным скалистым местностям.

«Далекий путь заставляет меня быть крайне осторожным», — написал я в Асхабад перед выступлением экспедиции из Серахса. И первые же дни путешествия оправдали эти опасения, развеяв некоторые планы и надежды.

Путь по иранской земле начался с Зюльфагара, ущелья, где скрещивались границы трех государств: России, Персии и Афганистана. Оттуда караван направился на юг вдоль персидско-афганской границы. В пути мы придерживались системы, по какой то шли пустынными равнинами, то — иногда — останавливались в редких персидских селениях.

Вдвоем с Хентингтоном, я на вороном Моро, а Эльсворс на кауром иноходце, мы часто отъезжали в сторону от каравана, следовавшего намеченным путем, и осматривали местность.

Однажды, сбившись с пути, мы углубились на несколько километров в Афганистан, где нас окружили и задержали афганские крестьяне, поправлявшие арыки. Нас сопровождали только два джигита, а караван по иранской земле продолжал свой путь к ночлегу.

Когда стало ясно, что афганцы не намерены нас отпускать, Хентингтон предложил отстреливаться и уходить вскачь. Мердан шептал мне: «Аллах нас покинул! За каждого пойманного русского англичане платят тысячу рупий! У англичан здесь везде шпионы! Придется драться, иначе нас сперва сгноят в клоповнике-зендане, а потом посадят на колья перед дворцом английского резидента в Кабуле!..»

Подумав, я предложил испробовать хитроумную уловку Одиссея и ответил Мердану: «Подожди! Аллах нас еще не покинул. Это мы покинули Аллаха!..» и приказал Мердану объявить афганцам, что я, великий сархэнг (полковник), прибыл сюда специально как посол, с кем попало говорить не стану, а требую встречи с кем-либо из самых больших здесь начальников!

Услышав такую речь Мердана, афганцы ответили, что ближайший афганский ага (начальник) находится отсюда в нескольких километрах — в военной крепости.

«Проводите меня к нему! — приказал я. — И пошлите гонца вперед, чтобы нам приготовили чай и достархан!..»

Несколько афганцев вскочили на лошадей и умчались. Два афганца хотели взять моего коня под уздцы, но Моро, подстрекаемый шпорами, стал так злобно кусаться и брыкаться, что афганцы отбежали, и мы спокойно двинулись дальше.

Окруженные конвоировавшей толпой босоногих афганцев, мы приехали в маленькую, глиняную, полуразвалившуюся крепостцу, где уже были разостланы ковры, дымился плов и на костре стояли, подогреваясь, бронзовые кумганы с чаем.

Начальник крепости и пограничной стражи на этом участке границы, старый афганский офицер Абдул-Гамид, высокий, с бородой, наполовину выкрашенной хной, говорил с нами злобно, но вежливо, иногда проводя ладонями по красной бороде: «Как вы осмелились проехать без разрешения по афганской земле? Вы должны знать, что русским въезжать в Афганистан запрещено! Зачем вы приехали?..»

Через переводившего нашу речь Мердана мы объяснили, что это научная экспедиция, один из нас русский, но другой американец, и мы сбились с дороги, так как в этой пустынной местности пограничных знаков нет. Поэтому мы приехали сюда, чтобы нам объяснили, каким путем двинуться дальше, чтобы добраться до Сеистана, а оттуда мы направимся в Белуджистан и в Индию. Затем я добавил: «Афганцы — храбрые и благородные воины! Они не задержат мирных путников, следующих своим путем, обратившихся к ним за помощью. Разве афганцы исполняют приказы только инглезов (англичан), а не свои? Разве они не вольны поступить так, чтобы у путников осталась память об афганцах как о свободолюбивых и великодушных хозяевах?.. Или старый храбрый воин Абдул-Гамид не начальник крепости на своей родной земле?..»

Мердан старательно переводил мою речь, и мне показалось, что суровость Абдул-Гамида смягчилась. Он приказал подавать угощение, пожелал осмотреть оружие путников.

Я протянул ему свою обыкновенную старую солдатскую винтовку укороченного (кавалерийского) образца и попросил показать мне афганское ружье. Абдул-Гамид показал свою винтовку, на ее стволе было выбито английское клеймо.

Когда мы приступили к достархану, завязалась беседа, в которой Абдул-Гамид много расспрашивал о России и ее среднеазиатских владениях. Он сказал, что я первый русский, с каким ему приходится вести разговор, и дал понять, что сам он ничего против России и русских не имеет, но, как и другие афганцы, должен выполнять

приказы из Кабула своих вчерашних врагов — англичан...

Мы простились дружески. Я оставил Абдул-Гамиду в подарок свои часы, и предварительно съев весь плов (мы изрядно проголодались, плутая в поисках пути), поблагодарив за прием и указание дороги, мы сели на лошадей.

Во все время беседы Хентингтон молчал, подозрительно поглядывал на Абдул-Гамида и по сторонам, иногда доставал из внутреннего кармана меховой куртки Библию, заглядывал в нее.

Мы отъехали из крепостцы спокойно, понемногу ускоряя шаг коней, перевели их на рысь и пустили вскачь, когда уже смеркалось.

За нами, наблюдая, следовало несколько афганских всадников.

Достигнув места ночлега своего каравана, где наши спутники уже разбивали лагерь, удивляясь, почему это нас нет так долго, мы услышали издалека знакомый лай Трезорки и дружно возблагодарили «Аллаха, не забывшего нас!»

А некоторое время спустя, достигнув Сеистана, в русском консульстве в Хорасане мы узнали, что капитан пограничной стражи Абдул-Гамид был вызван в Кабул, где подвергся телесному наказанию за то, что отпустил, а не задержал и не доставил в Кабул «дерзких русских путников».

5. НОВОГОДНИЙ СОН

Хентингтон, специально изучавший географию и геологию, во время пути вел записи, делал зарисовки местности, фотографировал окрестности и рассказывал мне о процессе геологических изменений земной коры, объясняя, как произошли пустыни, по каким мы проезжали, почему на них нет жизни.

Он говорил, что в течение многих тысячелетий высочайшие горы, некогда существовавшие в Иране, постепенно размывались, образуя пологие холмы и широкие долины, и лишь кое-где оставались невысокие скалы, следы некогда грозных хребтов.

В древние времена восточный Иран был густо населен, имел высокую культуру. Нам постоянно попадались развалины городов, остатки крепостей, следы каналов. По мнению Хентингтона, раскопки в восточной части Персии еще принесут необычайные открытия, обнаружив следы исчезнувших культур, о которых мы до сей поры ничего не знаем.

Лишь изредка мы встречали кочевья и небольшие поселения.

Путь шел большей частью по голой, выжженной солнцем безводной пустыне, где лишь иногда на горизонте проносились стада пугливых диких куланов и сайгаков да высоко в небе парили орлы.

Почему исчезли те селения, поля, сады и арыки, следы которых мы встречали? Ведь геологические изменения, о каких рассказывал Хентингтон, происходили много тысячелетий раньше и создали благодатную почву для развития жизни, а она, распутившись однажды пышным цветением, исчезла, словно ее и не было...

Остановившись на ночлег мы в открытой степи. Ночью слышались завывания и визг шакалов. Стреножив, напоив и накормив коней, уложив верблюдов, лежа возле тлеющего костра или забравшись в раскинутую палатку, мы мгновенно засыпали, усталые, измученные трудной дорогой.

Вглядываясь в окружающую мертвую пустыню, я невольно думал:

«Наверное, и климат здесь раньше был другой. Ведь по этой равнине некогда проходили многотысячные армии Александра Македонского, Чингиз-хана, Тамерлана, других завоевателей. Чем они питались? Где поили вьючных животных и коней? Что принесли они с собой и что после себя оставили?..

Разрушения, смерть, развалины городов и селений, гибель созданной веками культуры, узкую караванную тропу тысячелетней давности — все остальное занесено песком и пылью... Ради чего же воевали эти «потрясатели вселенной»?..»

Новый, 1904 год мы встретили в пустыне, отметив его наступление залпом из винтовок и скромным пиршеством.

Эта новогодняя ночь, морозная и тихая, какой начался год, оказавшийся роковым для России, стала знаменательной и для меня. В эту ночь, под утро, я увидел странный сон.

Мне приснилось, что я сижу близ нарядного шатра и во сне догадываюсь, что большой, грузный монгол с узкими колючими глазами и двумя косичками над ушами, кого я вижу перед собой, — Чингиз-хан.

Он сидит на пятке левой ноги, обнимая правой рукой колено. Чингиз-хан приглашает меня сесть поближе, рядом с ним, на войлочном подседельнике. Я пересаживаюсь поближе к нему, и он обнимает меня могучей рукой и спрашивает:

«Ты хочешь описать мою жизнь? Ты должен показать меня благодетелем покоренных народов, приносящим счастье человечеству! Обещай, что ты это сделаешь!..»

Я отвечаю, что буду писать о нем только правду.

«Ты хитришь!.. Ты уклоняешься от прямого ответа. Ты хочешь опорочить меня? Как ты осмеливаешься это сделать? Ведь я же сильнее тебя! Давай бороться!..»

Не вставая, он начинает все сильнее и сильнее сжимать меня в своих могучих объятиях, и я догадываюсь, что он, по монгольскому обычаю, хочет переломить мне спинной хребет!

Как спастись? Как ускользнуть от него? Как стать сильнее Чингиз-хана, чтобы ему не покориться?.. И у меня вспыхивает мысль: «Но ведь все это во сне! Я должен немедленно проснуться и буду спасен!..»

И я проснулся. Надо мною ярко сияли бесчисленные звезды. Пустыня спала. Наши кони, мирно похрустывая, грызли ячмень. Не было ни шатра, ни Чингиз-хана, ни пронизывающего взгляда его колючих глаз...

И тогда впервые появилась у меня мечта — описать жизнь этого завоевателя, показать таким, каким он был в действительности, разрушителем и истребителем

народов, оставлявшим за собой такую же пустыню, как та, где спал наш караван...

Но еще много суждено было мне странствовать, видеть и пережить после этого рокового сна, прежде чем — только тридцать лет спустя — я смог осуществить эту свою мечту!..

6. ЛЮТАЯ ПУСТЫНЯ

Продвигаясь дальше на юг, наш маленький караван пересек безводную пустыню Дешти-Лут, вполне оправдывающую свое название («Лут» — означает «Лютая»). В центре восточной части Ирана на сотни километров тянутся ее песчаные равнины, прорезанные невысокими скалистыми горами, покрытые солончаками и редкими мертвыми озерами.

На берегу одного такого горько-соленого озера Немексармы потеряли вьючного верблюда, по уши провалившегося в солончаковую трясины, и сами чудом выбрались из беспощадной западни. Все наши попытки спасти погибавшее животное и вьюки не помогли, и пришлось пристрелить обреченного на ужасную смерть несчастного верблюда, одну из бесчисленных жертв Лютной пустыни.

Трудно было представить себе, что в этой суровой местности может теплиться какая-нибудь жизнь.

Однако когда, измученные борьбой с трясиной, мы остановились на ночлег у подножия невысокой мрачной голой горы, где из трещины в черной скале слабо сочилась тонкая струйка пресной воды, к нашему костру из темноты вынырнул тощий старик в войлочном белом плаще, с пастушеским посохом, а следом за ним робко подошел мальчик лет восьми с лохматой собакой.

Приняв угощение и греясь у костра, пастух, посасывая длинную самодельную трубку, рассказал нам много интересного о пустыне. Он не считал ее мертвой и говорил, что такой она кажется только чужеземным пришельцам вроде нас, а для того, кто тут родился, в пустыне есть все, что нужно, — вода, пища, животные и люди.

«В этой пустыне живет свободолюбивый кочевой народ Люта, кочующий между Индией и Красным морем. Люди этого народа хорошо знают свою родную землю, где и в какое время года появляется вода в колодцах, побеги растений, и постоянно меняют стоянки своих кочевий.

Молодые люта любят подстергать купцов на караванных путях, а старики пасут баранов, сеют просо и собирают в горах дикие фисташки и миндаль...

У люта есть своя столица — Атеш-Кардэ, затерянная в глубине пустыни и окруженная лабиринтом гор, где постоянно никто не живет, только раз в три года посещают ее «священные камни». Дорогу в столицу знает только «посвященный».

Управляет народом Люта женщина, «Правительница народа», при которой действует Совет старейшин. Они тоже в столице не живут, а постоянно кочуют...»

Ночью пастух, мальчик и собака исчезли в темноте так же тихо, как появились, а караван утром двинулся дальше по такой же наводившей уныние и казавшейся нам безжизненной седой солончаковой пустыне с редкими засохшими стеблями ползучих растений, покрытых соляным кристаллическим налетом.

Продолжая спускаться на юг, мы вскоре оказались в совершенно первобытных местах, лишенных всяких признаков человека, без дорог, сильно пересеченных множеством скал и глубоких расщелин. Нам стало ясно, что, блуждая между ними, мы потеряли ориентировку, заблудились.

Наш проводник, нанятый несколько дней назад в последнем персидском селении, оказался териакешем (опиекуром). Он и раньше внушал подозрение, а тут заговорил о том, что «впереди три дороги, все три плохие, без воды, а на дорогах много карапшик...»

[226]

.

Он стал требовать прибавки себе в десять кранов и териак, пояснив, что без опиума не может идти дальше. Получив деньги и опиум, проводник завернул краны в чалму, проглотил коричневый шарик опиума и предложил нам повернуть обратно...

Положение каравана стало опасным.

Погибший верблюд унес с собою два бурдюка с водой и часть продовольствия и снаряжения.

Кроме этого, на прошлом переходе приступ лихорадки охватил молоканина Михаила, и он почти лежал в седле без сознания, обхватив руками шею своего жеребца. Курбан постоянно ехал рядом с ним, следя за тем, чтобы Михаил не упал с седла.

Чем дальше мы продвигались, тем больше убеждались в том, что заблудились. Уже смеркалось, а мы еще не встретили ничего похожего на дорогу или признаки ручья или колодца. Разбивать ночлег на солончаке не хотелось, он не принес бы отдыха ни людям, ни животным.

Хентингтон в ярости называл проводника хэмбогом, ругал карту и возмущался, крича о том, что «теперь вся равнина от Зюльфагара до Белуджистана через несколько дней будет знать, что мы простаки, которых может легко обмануть последний териакеш, и все азиаты станут над нами потешаться!..».

Эльсворс опасался и того, что проводник нарочно завел нас сюда, в это дикое место, чтобы передать в руки бродячих разбойников, и требовал продолжать путь, строго идя на юг по компасу.

Я же прислушался к совету старого многоопытного Мердана, предложившего повернуть на восток, к афганской границе, туда, где, по его словам, «в предгорьях можно встретить селения и кочевья, туда докатываются горные ручьи. А на юг продолжает тянуться голая безводная пустыня...».

Наши мнения разделились, и мы решили идти дальше разными путями, наметив пункт встречи примерно на сто километров южнее, в расчете попасть туда через три-

четыре дня. Если бы встреча не состоялась, то каждый должен был идти на выручку другому.

Хентингтон с караваном, проводником, больным Михаилом и Курбаном направились на юг.

Когда звон верблюжьих боталов затих вдали, Мердан, Хива-Клыч и я повернули своих коней головами на восток.

7. ПРАВИТЕЛЬНИЦА НАРОДА ЛЮТИ

Первые сутки пути не принесли нам облегчения, но Мердан был уверен в том, что мы найдем воду, и продолжал вести нас на восток.

Когда снова спустилась ночь и наши кони вновь пошли чутьем, то спускаясь, то поднимаясь по склонам каменистых холмов, то в непроглядной темноте вдали сверкнул и погас огонек. А где огонь — там люди, вода и пища; и надежда придала нам силы.

Подъехав ближе, мы увидели большой костер, вокруг которого двигались, закрывая его пламя, женские фигуры в длинных развевающихся одеждах. Отблески костра освещали несколько черных шатров, распластавшихся, как крылья летучей мыши.

Под ноги нашим вздыбившимся коням, давясь хриплым лаем, бросились огромные лохматые собаки. Женщины исполошились, забегали, пронзительно закричали и, подбирая с земли, стали бросать в нас камни.

Когда мы подъехали к самому костру, из темноты выбежал седобородый старик в чалме и, яростно размахивая руками, отгонял нас. Мердан что-то кричал старику по-афгански, а Хива-Клыч пытался объясниться по-персидски и туркменски, но это плохо помогало.

Женщины, закрывая рукавами нижнюю часть лица, продолжали визжать. Камень пролетел мимо моего уха, другой ударил в коня Мердана.

В растерянности мы попятнулись, но тут из-за шатров выбежала маленькая смуглая девочка в красной одежде, расшитой звенящими серебряными монетами, что-то крикнула женщинам, и те сразу успокоились. Старик отошел, продолжая ругаться и шипеть. Подойдя к нам,

девочка очень быстро заговорила на языке, похожем на персидский.

Хива-Клыч приступил к переговорам, и оказалось, что мы попали в кочевье Машуджи — одного из племен народа Люти, где живут одни женщины, и поэтому мужчинам, а тем более кяфирам (неверным), тут нечего делать. Но в кочевье есть старшина, тоже женщина, — Биби-Гюндюз, она хочет повидать путников и просит нас пройти в ее шатер.

Женщины отозвали собак, приняли и увели наших коней. Законы восточного гостеприимства свято соблюдаются всеми народами Азии, и поэтому с той поры, как мы были приняты в качестве гостей в чужом кочевье, нам больше не следовало беспокоиться ни о себе, ни о своих конях.

Звеня монистами, девочка повела нас за собой и, приподняв полог, ввела в полутьму одного из шатров, усадила на ковер перед струйкой голубого дымка, дрожавшего над тлеющими углями очага.

Немного присмотревшись, мы увидели по другую сторону очага неподвижно сидящую в позе Будды женскую фигуру с опущенными глазами. Это и была Биби-Гюндюз — правительница племени.

Красная шелковая одежда с нашитыми золотыми монетами и украшениями покрывала ее плечи. Голову укутывала шаль, поверх нее надета золотая конусообразная тиара с золотыми подвесками на цепочках. Блики костра освещали красивые застывшие тонкие черты коричневого лица рано постаревшей или очень молодой женщины, насурьмленные прямые брови, синюю точку над переносицей. На бронзовой шее и груди висело несколько ожерелий крупных изумрудов и бирюзы.

Хива-Клыч начал вежливый восточный разговор о здоровье баранов, коней и верблюдов Биби-Гюндюз, о ее здоровье и о здоровье всех женщин ее племени, а потом рассказал о пути нашего каравана через соляную пустыню к границам Индии.

Биби-Гюндюз слушала молча, неподвижно, опустив взор.

Услышав, что в экспедиции есть «большой мулла» американец, рисующий горы, она подняла узкие черные глаза и остановила на мне пристальный загадочный взгляд.

«Я знала о вашем караване и раньше, — сказала Биби-Гюндюз тихим мелодичным голосом. — Твой товарищ рисует горы, чтобы потом отнять их у тех, кто живет в этих горах? И ты тоже?.. А в Индию вас не пропустят. В Белуджистане стоят большие отряды англичан, они никого не пропускают...»

Я успокоил Биби-Гюндюз, сказав о себе, что я «искатель истины», брожу по свету, чтобы узнать, где и как живут люди и в чем их счастье...

Взгляд Биби-Гюндюз немного потеплел. «Так ты дервиш? Дервиш-ференги? Таких я еще не встречала...» И она попросила рассказать ей о моих путешествиях.

Услыхав о том, где я побывал, Биби-Гюндюз сказала:

«О! Ты еще очень мало видел, немного знаешь! Ты еще совсем молодой! Долго тебе еще предстоит ходить и искать, прежде чем ты поймешь, что за счастьем никуда ходить не надо. Оно у каждого народа на его земле. Счастье — в свободе народа, у его родного очага, в его любимом занятии, в кругу его родных и соплеменников!..»

Затем Биби-Гюндюз рассказала о племени машуджи, о том, что свой шатер она раскидывает и на зеленых высокогорных лугах Гималаев, и в желтых песках Аравии. Когда я заинтересовался тем, как это она может так свободно кочевать через границы многих государств, Биби-Гюндюз поведала чудесную легенду о своем племени; в ее правдивость она глубоко верила, а мне этот рассказ показался сказкой.

«В очень древние времена, когда на вершинах здешних гор еще росли кедры, а в рощах щебетали птицы, Искендер Двурогий пересекал со своим войском пустыню Дешти-Лут. Искендер умирал от жажды, а с ним погибало все его войско, не подозревавшее о близости колодцев со сладкой водой.

Находившаяся неподалеку в своей столице Атеш-Кардэ правительница свободного народа Люти пожелала увидеть Великого завоевателя, явилась к нему в лагерь и указала Искендеру на ключ сладкой воды.

Искендер напоил свое войско, провел ночь в беседах с правительницей Люти, а уходя в поход, оставил ей фирман (указ), разрешающий на вечные времена свободный проход народу Люти по всем землям, через все границы основанного Искендером государства, и освобождающий Люти от налогов и сборов на десять тысяч лет вперед, с одним условием: главой народа всегда должна оставаться женщина.

Женщины миролюбивы, не устраивают заговоров, восстаний и не любят войн.

В том же году у правительницы родилась дочь, ставшая правительницей народа после смерти своей матери, а от нее произошли все остальные правительницы свободного народа Люти, и Биби-Гюндюз — потомок той правительницы, что провела ночь в беседах с Искендером...

С той поры нигде, ни в одном государстве Азии, не спрашивают у Люти разрешения пересечь границу, и ни один сборщик налогов не осмеливается заглядывать в их шатры...»

Когда я заинтересовался судьбой фирмана Искендера, Биби-Гюндюз сняла с груди и показала большой, висевший на цепочке, серебряный амулет, похожий на початок кукурузы или еловую шишку, сказав, что в нем, передаваемый из рода в род, хранится легендарный фирман.

В амулете, открывающемся наподобие медальона, лежал свиток пергамента, высохший и кофейного цвета от времени, испещренный слабо различимыми значками, похожими на древнегреческие буквы. Узнав, что мне знаком греческий язык, Биби-Гюндюз разрешила прочесть и переписать то, что разберу, чтобы потом перевести на язык ее племени.

Женщины, закрывая лица головными платками, принесли восточные сладости и после угощения отвели

нас в другой шатер, где уже были сложены наши уздечки, седла и хуржумы, и там мы провели остаток ночи.

Часть времени я провел в рассматривании и копировании при слабом свете огонька масляного фитиля, плававшего в глиняной плошке, тех немногих сохранившихся строк, по-видимому письма «Великому Александру» от его воина, попавшего в плен к скифам после неудачной для македонцев битвы у Яксарта (Сырдарья)...

Ночью Мердан несколько раз выходил из шатра посмотреть наших коней и ворчал, подозрительно оглядываясь, что мы «попали к ворам-цыганам, только и ждущим момента, чтобы нас зарезать и забрать наших коней».

До известной степени у него были основания так думать. С нами ночевал старый мулла, вскакивавший при каждом нашем движении, посылавший проклятия «всем кяфирам!», всматриваясь в нас ненавидящими глазами.

Утром те же женщины принесли нам плов с финиками, а затем подвели хорошо выстоявшихся, отдохнувших, накормленных и напоенных, оседланных наших коней.

Перед самым отъездом подошла и Биби-Гюндюз. На этот раз на ней не было надето никаких украшений, и внешне она ничем не отличалась от других женщин ее племени. Биби-Гюндюз деловито осмотрела коней, потрогала подпруги, проверила, наполнены ли наши бурдюки, и пожелала счастливого пути.

Рядом с ней была так на нее похожая смуглая девочка, встретившая и проводившая нас в шатер Биби-Гюндюз минувшей ночью...

Возвращая амулет со свитком, я не стал разочаровывать Биби-Гюндюз; наоборот, подтвердил древность папируса и, поблагодарив за гостеприимство, пообещал прислать ей точный перевод фирмана Искендера через первых же встреченных нами кочевников-белуджей.

Биби-Гюндюз разрешила сделать несколько фотоснимков ее шатров и женщин Люти, я обещал прислать ей и фотографии, конечно, уже из Асхабада; несколько фотографий, сделанных в кочевье женщин

машуджи, чудесным образом сохранились до наших дней (В архиве В. Яна. — М. Я.).

Так, с невольной помощью проводника-териакеша, завлекшего нашу экспедицию в эти дикие места, на отлете от проторенных караванных троп, я увидел необычайное — побывал в кочевье амазонок племени Машуджи, повидал правительницу свободного народа Люти и «фирман Искендера».

Впоследствии эти встречи и впечатления помогли мне написать рассказы «Ватан» и «Письмо из скифского стана».

8. «ЗАДЕРЖАТЬ ДЕРЗКИХ ПУТНИКОВ!»

К вечеру следующего дня в условленном месте встречи, поднимаясь по крутому склону оврага, мы увидели на вершине холма маленькую человеческую фигуру. Хентингтон, сидя на складном стуле, читал свою любимую Библию. Невдалеке виднелась растянутая палатка, возле нее лежали верблюды и паслись стреноженные лошади, возле костра ходили Курбан и Михаил.

«Все ли благополучно? Отчего вы не в походе?..» — радостно закричал я издали Эльсворсу и галопом поскакал на холм.

«Все отлично... О'кей!.. Но сегодня воскресенье! Как истинный верующий я считаю своим долгом в этот день предаваться отдыху и размышлениям...» — объяснил мой американский спутник.

После долгого тяжелого пути мы прибыли в Сеистан. Эта очень болотистая область восточного Ирана, лежащая на кратчайшем пути из Средней Азии в Индию, орошается и затопляется разливами реки Гильменд, теряющейся далее в песках, не добравшись до Персидского залива.

В древнейшие времена Сеистан славился как родина легендарного иранского героя Рустема, был богатейшей провинцией Персии. Он не раз подвергался нашествиям и опустошениям, а в последний раз был разгромлен и начисто ограблен Тамерланом и после того уже не смог оправиться.

При посещении Сеистана нашей экспедицией, по этой наполовину заболоченной равнине, пустынной и невозделанной, кочевали воинственные белуджи со своими стадами.

Сеистан (или Белуджистан) долго был «яблоком раздора» между Ираном и Афганистаном, пока в 1872 году он не был разделен между ними, конечно, при «посредничестве» Англии. Однако такое искусственное разделение страны, выгодное только «посреднику», никак не смогло устроить единое по национальности население Сеистана, привело к возникновению множества постоянных пограничных инцидентов.

В Сеистане мы посетили одного из местных белуджийских ханов и, как водится, «поднесли дары». Хан нас принял радушно и в разговоре за достарханом сказал:

«Я благодарен вам за подарки, но мне нужно другое... Со мной все время воюет мой брат, правитель соседнего округа в Афганистане. Ему тайно помогают англичане — дают оружие. Почему русский царь, такой могучий, не пришлет мне несколько пушек? Я бы тогда справился со своим братом и стал жить в вечной дружбе с русским царем!..»

В Нусретабаде, административном центре провинции, мы были приняты в русском консульстве и узнали, что дальше, через афганский Сеистан (Белуджистан), к индийской границе (до нее оставалось менее 100 километров!) англичане нас не пропустят. Между тем незадолго до нас несколько немецких путешественников свободно проехали здесь в Индию.

В консульстве мы узнали и о том, что англичане, оберегавшие и старавшиеся удерживать в своих руках все подступы к Индии, зорко следившие за каждым русским, направлявшим свои шаги в сторону «жемчужины британской короны», были встревожены и этой нашей экспедицией.

Английские консулы получили приказ — чинить нам в пути всяческие препятствия и, если удастся, задержать

экспедицию, вероятно потому, что один из ее руководителей был русский!

Шайки бродячих разбойников высылались нам навстречу с целью перехватить караван и разделаться с ним в пустыне, навсегда скрывшей бы тайну его исчезновения. Но у меня в пути было правило, по какому, расспрашивая у встречных о предстоящей дороге, я своими вопросами наводил собеседника на ложный след, сам направляясь вовсе по иному пути. Так нам удалось избежать нежелательных встреч и преследований, благополучно пересечь Персию.

В своем рассказе «Афганские привидения», написанном вскоре, я поведал об одной такой нежелательной встрече, едва не закончившейся трагически для нашей экспедиции.

В Сеистане пришлось прервать наш путь к Афганистану, Индии и Персидскому заливу еще и по другим причинам.

Поступили известия о коварной атаке японскими миноносцами русского флота в Порт-Артуре [227]

.

Мои денежные средства совсем иссякли.

Хентингтон неожиданно получил телеграмму от директора института Карнеги с распоряжением вернуться в Америку.

Мы «повернули головы коней обратно» и двинулись на север, но другими, более западными путями, через персидские города.

9. КРЕПОСТЬ ЯЗЫЧНИКОВ

На обратном пути мы видели еще немало удивительного. Город, разрушенный землетрясением накануне приезда нашей экспедиции, и другой город, в Сеистане, расположенный посреди болотистого озера.

Этот необитаемый город, по улицам его можно было ездить только на плотах, сделанных из связок камыша в форме сигар, покинули по неизвестным причинам все его жители в давние времена.

Его единственной обитательницей оказалась рыжая лисица, метавшаяся по городским крышам и переулкам, снова и снова выбегавшая нам навстречу.

Мы посетили «священный город Мешхед», центр Хорасанской провинции, где фанатичные правоверные мусульмане считали за высшую честь быть похороненными. Поэтому туда отовсюду привозили покойников, часто издалека, и город окружало сонмище бесчисленных могил, отмеченных однообразными надгробиями.

В Мешхеде мы воспользовались очень любезным приемом у русского генерального консула Панафидина. Здесь моя командировка была продлена еще на месяц, консул снабдил меня небольшой суммой денег и пообещал продать наших двух уцелевших верблюдов; надобность в них миновала, большинство вьюков опустело, мы всегда имели воду в пути и приближались к русской границе.

Вскоре после выезда из Мешхеда, на последнем этапе обратного пути, мы услышали от местных жителей о каких-то развалинах на вершине одинокой горы, где будто бы в древние времена жил грозный разбойник, державший в страхе всю округу и хранивший там сокровища. Гора называлась Кяфир-Кала (Крепость язычников).

Суеверные Мердан, Курбан и Хива-Клыч отказались лезть на гору, и, оставив караван с джигитами в селении, Хентингтон с Михаилом и я выехали к Кяфир-Кале.

Подняться на гору сперва показалось делом невозможным.

С трех сторон скала была почти отвесной и гладкой. С четвертой стороны громоздились огромные обломки скал. Все же на одной отвесной стороне мы увидели еле заметные следы горных коз и решили не отступать. «Если на вершину прошли козы, то проберется и человек!..»

Мы с Эльсворсом оба хотели доказать, что американец и русский не уступят друг другу в настойчивости и ловкости, и стали ползти по едва заметной тропинке.

Вскоре она прервалась возле отвесной стены. Дальше предстояло взбираться вверх под углом в сорок пять градусов по совершенно гладкой, точно отшлифованной скале. Мы поглядели друг на друга и сказали: «Иншалла!» (С нами бог!)

Хентингтон полез первым, я вслед за ним, готовый подхватить, если сорвется.

До сих пор я вижу перед собою этого маленького, слегка сутулого, настойчивого человека и то, как он, распластавшись, карабкается, стараясь воспользоваться каждым незначительным бугорком. Наконец он взобрался наверх, уселся над обрывом и сейчас же раскрыл Библию, посматривая на меня и подавая советы. Ощупывая каждую выпуклость, я подымался следом, и до вершины уже оставалось ползти метра четыре, но тут из ножен, висевших на поясе, выскользнул кинжал, задержался и остался лежать на откосе.

Я уже близко видел толстые, подбитые гвоздями подметки сапог моего американца, но сделал движение, пытаясь поймать кинжал, мой сапог соскользнул с бугорка, на какой опирался, и я стал медленно сползать в пропасть...

Мысли завертелись вихрем: «Неужели конец?.. Еще пара метров, и я свалюсь в пропасть!..» Бросив взгляд искоса вправо, я увидел глубоко внизу Михаила и наших коней, маленьких, как муравьи... Но тут я почувствовал, что нога оперлась о небольшой бугорок, и перестал соскальзывать вниз.

Взглянув влево, я не поверил глазам своим: из-за грани скалы показалась смуглая волосатая рука, высунулась лохматая голова с всклокоченной полуседой черной бородой, и полуголая, в лохмотьях, фигура выскочила на скалу, ловко схватила кинжал и быстро сползла в пропасть...

С отчаянной энергией дополз я до вершины горы, и там мы с Эльсворсом пожали друг другу руки.

На каменной площадке вершины горы Хентингтон нашел остатки какой-то постройки и зарисовал их.

Обратно мы спустились иным путем, по обломкам скал.

В персидском селении, где нас ожидал караван, жители рассказывали о таинственной фигуре, схватившей выпавший кинжал.

«Это полусумасшедший Мамед-Али, ставший дервишем после того, как при сильном землетрясении его жена и дети провалились в разверзшуюся землю. Он живет на Кяфир-Кале, умеет туда пробираться по одному ему известной тропе над пропастью...»

О рискованном подъеме на Кяфир-Калу и своих переживаниях я написал уже в советское время рассказ «Демон Горы».

От Кяфир-Калы наша экспедиция быстро и без приключений достигла русской границы и 1 марта была в Асхабаде.

Хентингтон вернулся в Америку не задерживаясь.

В Асхабаде по итогам экспедиции я написал подробный отчет, представив его начальнику области, а тот переслал его в штаб Туркестанского военного округа, оттуда отчет направили в Военное министерство.

Четвертый месяц шла русско-японская война, и я вскоре выехал в Петербург, чтобы добиться назначения в Маньчжурию, на фронт, военным корреспондентом.

Так же, как Хентингтон, я вел дневники и делал зарисовки в пути, фотографировал, но почти все записи об этой экспедиции, как и о других поездках по Средней Азии, погибли в огне войн и революций.

Остались немногие заметки, очерки, рассказы, напечатанные в петербургской и асхабадской прессе тех лет, фотографии, рапорты в архивах Ашхабада и Ташкента, да в советское время я написал несколько рассказов, в основу каких легли воспоминания о моих путешествиях по Средней Азии начала нашего века.

10. КЛАДОВАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

За этот свой первый период службы в Средней Азии я много раз отправлялся в поездки и путешествия по пустыням и горам, кочевьям, поселкам и городам.

Трижды я посетил Ташкент, будучи членом «Саранчового комитета», изучая методы борьбы с саранчой и договариваясь в Туркестанском

губернаторстве о приобретении французских конных аппаратов Вермореля (своих, русских, аппаратов тогда не было) для уничтожения «кобылки».

На обратном пути из Ташкента побывал я в Ферганской долине и в столице Бухарского эмирата.

Для «Саранчового комитета» я составил программу действий и проехал по прикопетдагской полосе в поисках участков, где притаились личинки саранчи, а затем руководил отрядами по уничтожению этого ужасного губителя посевов и растительности.

Я сопровождал Суботича в его поездке на полуостров Мангышлак и в некоторых других инспекциях, а позже посетил Северную Персию уже как член «Сельскохозяйственного комитета» — для ознакомления с экономическим и продовольственным положением населения в соседних с нами персидских провинциях. Там, как и в Закаспии, часто свирепствовал голод, бывали засухи, неурожаи, и все растущее пожирала саранча.

Несколько продолжительных поездок верхом вдвоем с туркменом-переводчиком были у меня по восточным землям, аулам и поселкам Асхабадского уезда для выяснения положения и нужд туркменского населения в землепользовании, распределении воды, народном образовании, в необходимости продовольственной помощи.

Тогда же напечатал я несколько очерков и статей в местных газетах на актуальные темы: «О мерах сближения населения Туркестанского края с русскими», «О ташкентских русско-туземных школах», «О вражде туркменских племен из-за нехватки земли и воды», о нашествиях саранчи и борьбе с нею, о своих поездках по Закаспию, наблюдениях жизни туркмен.

Помня наставления своего отца и учителя о том, что «детям принадлежит будущее», куда бы меня ни забрасывала судьба, я не оставлял без внимания детей, заглядывал в школы, если встречал их на своем пути.

А так как тогда не было школ для туркменских детей (в лучшем случае дети богатых и знатных родителей-

туркмен учились грамоте и счету по корану и шариату в мусульманских духовных школах у мулл, ишанов, таибов и прочих местных мракобесов), я думал о том, как организовать школы для всего туркменского народа, пытался это сделать.

Посещая туркменские кочевья, я обычно собирал туркмен на сходы, где выслушивал и записывал их жалобы и пожелания для доклада начальнику области.

Здесь, в Туркмении, как и прежде в России, в период своего «хождения по Руси», меня особенно волновала неграмотность коренного населения, отсутствие школ. В одном из рапортов осени 1903 года я написал от имени туркмен кочевий, где побывал:

«Аул Безмеин: мы очень просим, чтобы правительство помогло нам и открыло школу, где бы наши дети учились разным ремеслам...»

«Аул Геокча: мы очень желаем, чтобы наши дети учились в какой-нибудь школе русскому и мусульманскому письму...»

«Аул Кипчак: кипчакцы желают, чтобы их дети учились разным ремеслам... теперь умеют читать и писать по-туркменски только 5 — 10 мальчиков из 100...»

«Аул Янкала: просим построить в ауле... школу, хотя бы самую простую. Наши дети ничему не учатся, растут дикарями...»

На этот рапорт начальник области наложил резолюцию: «Вот это — дело! Нужно обсудить».

Впоследствии, в январе 1904 года, когда я был в Персии, на заседании областного «Сельскохозяйственного комитета» присутствовавшие старшины поименованных в рапорте аулов «...заявили, что их общества подобных ходатайств не возбуждали...», однако они высказались в поддержку желательности устройства школ в аулах.

Как я узнал позже, в конце того же года в Ташкенте обсуждалась возможность открытия в Асхабаде ремесленного училища для мальчиков-туркмен.

Начавшаяся русско-японская война надолго отвлекла общественное внимание от поставленной проблемы организации школ для туркменских детей, и решена она

была окончательно только через два десятилетия, в советскую эпоху.

Когда весной 1904 года я покидал Асхабад, генерала Уссаковского повидать мне не пришлось, а его адъютант ротмистр Качалов очень надменно сказал мне, чтобы я не рассчитывал на свое возвращение в Асхабад.

«Если вы вздумаете потом вернуться с Дальнего Востока сюда, то мы вас обратно не примем!..»

«Как понимать слово «мы»? Кто это «мы»? — спросил я. — «Мы» — это вы или генерал Уссаковский?..»

«Это одно и то же», — ответил Качалов.

Таково было отношение чиновничье-офицерского «общества» Асхабада, вначале дружески принявшего меня за «своего», а потом, за малым исключением, относившегося враждебно.

Этих людей снедала зависть, порождавшая ненависть, потому что, погруженные в заботы только о собственном благополучии, любопытные только в части провинциальных дрызг и сплетен, они не видели дальше своих эгоистичных интересов, а на страну, где жили, и на ее народы смотрели как на свою колонию и на туземцев.

Я же, за годы, проведенные в Средней Азии, полюбил ее голубые дали, изучал историю, культуру, языки среднеазиатских народов, написал ряд статей и рассказов о них, держал себя независимо, не прислушивался к власти имущим, а шел своей дорогой, мечтал о новых путешествиях, накапливая знания и впечатления, продолжая искать, где же он, счастливый «Зеленый клин» — мечта обездоленных землепроходцев...

В своем последнем, прощальном письме из Ревеля (куда заехал проститься с матерью, уезжая на фронт в Маньчжурию), я написал генералу Уссаковскому:

«...Оставляя Закаспийскую Область, прошу принять мою искреннюю признательность за все предписанные мне командировки в Каракумские пески, Афганистан, Персию и за всю мою работу в области, исполненную по мере сил, что все дало мне драгоценнейшие сведения и знакомство со Средней Азией...»

Увиденные на рубеже двадцатого столетия картины полуфеодальной жизни народов Средней Азии много лет спустя дали стимул моему воображению, чтобы воскресить из небытия сцены жизни древнего Хорезма в повести «Чингиз-хан». Внешность эмира бухарского помогла созданию облика Хорезм-шаха Мухаммеда, посещение Хивинского ханства, островов прокаженных, путешествие через Каракумы и Персию помогли изобразить эпизоды жизни и гибели Хорезма... Эти поездки дали мне краски, впечатления и понимание души восточного человека...

1947 — 1948; 1955 — 1985